

МОНИКА ХЕССЕ

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «ДЕВУШКА В ГОЛУБОМ ПАЛЬТО»



ИХ
повели
налево

ВОЙНА ОКОНЧЕНА.
НО ИСТОРИЯ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Моника Хессе
Их повели налево
Серия «Young Adult.
Трагическая Моника Хессе»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64932226
Их повели налево / Моника Хессе: Эксмо; Москва; 2021
ISBN 978-5-04-114240-7

Аннотация

Германия, 1945 год. Солдаты, освободившие концлагерь Гросс-Розен, сообщают пленникам, что война закончилась, но восемнадцатилетняя Зофья Ледерман не верит в это.

Ее жизнь полностью разрушена: три года назад она и ее младший брат Абек были единственными членами их семьи, которых отправили подальше от газовых камер. Всех остальных – ее родителей, бабушку и тетю – повели на верную смерть.

Теперь Зофья хочет отыскать брата и попытаться начать новую жизнь. Но так ли это просто для человека, пережившего столько потерь?

Содержание

Часть первая	7
А	7
А ₂	23
В	35
С	46
С ₁	58
D	72
Часть вторая	84
Е	84
Е ₁	104
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Моника Хессе

Их повели налево

Monica Hesse

They Went Left

Copyright © Monica Hesse, 2020

© Татищева Е., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО
«Издательство «Эксмо», 2021

Посвящается Эндрю, моему младшему брату

* * *

КОГДА Я В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛА АБЕКА:

Колючая проволока, ржавые металлические узлы. Меня переводили в другой концлагерь. Собственно, переводили нас всех, девушек, которым повезло, поскольку мы все еще могли шить и стоять на ногах. Охранницы вели нас мимо мужской половины лагеря, где мужчины строились на перекличку. Наши глаза жадно искали среди них, этих живых скелетов, наших отцов и братьев. Теперь мы уже научились перешептываться, не издавая ни звука и читая по губам.

– Розен? Розен или Вайс? – девушки произносили фамилии членов своих семей одними губами, будто слова молитв. –

Есть ли здесь Розены из Кракова? Из Лодзи?

Я заметила, что его щеки еще не потеряли округлости, а глаза по-прежнему ясны. Должно быть, мужчины постарше делились с ним своим хлебом. Мы также иногда делились пайками с самыми младшими из нас. Увидев, что Абек не выглядит изможденным, я мысленно вознесла благодарность за все те разы, когда сама подкармливала хлебом чью-то младшую сестру, содержащуюся в нашем бараке, своего рода натуральный обмен со вселенной в надежде на то, что кто-то из мужчин делает то же самое с моим братишкой.

– Абек Ледерман, – одними губами сказала я, обращаясь к девушке, шагающей рядом. – В третьем ряду.

Она повторила его имя, повернувшись к забору, и я увидела, как по ту сторону колючей проволоки мужчины расступились, и кто-то взял его за плечи и вытолкнул вперед.

Я знала, что в нашем распоряжении есть только несколько секунд – едва-едва хватило бы для того, чтобы сжать его руку, что-то ему передать. Но что? Почему я не приберегла полкартошины, не припрятала кусок бечевки?

Шедшая впереди женщина остановилась, чтобы вынуть камешек из башмака. Глупо. Эта охранница ударит ее за такое нарушение лагерных правил, да и другие поступили бы так же. Как только женщина нагнулась, охранница саданула ее дубинкой по спине, и она вскрикнула от боли. Но одновременно она оглянулась, посмотрела на меня, и я поняла,

что задержка – это подарок; за это время я успею поговорить с братом.

– Зофья! – крикнул он. – Куда они везут тебя?

– Не знаю, – одними губами ответила я. Я чувствовала, что к глазам моим подступили слезы, но заставила себя сдерживать их, чтобы не терять время. Я просунула руку сквозь забор и сжала его мальчишеский кулачок, который все еще с легкостью помещался в моей ладони.

– Абек и Зофья, – сказала я.

– От А до Z, – отозвался он.

– Когда я встречу с тобой в следующий раз, мы дополним наш алфавит. И мы с тобой будем целы и невредимы, и все у нас будет хорошо. Обещаю, я разыщу тебя.

** * **

Иногда мне снится эта сцена. Я вижу ее ясно, четко, так, что могу разглядеть каждый волосок на его голове. И всякий раз, когда мне снится этот сон, Абек кивает в ответ на мое обещание. Как будто он доверяет мне, как будто верит. И на миг меня охватывает умиротворение.

Но затем что-то меняется. Лицо Абека в моем сне искажается, и он с болью в голосе говорит:

– Кое-что произошло. Но пока нам еще можно об этом не говорить.

Часть первая

А

Нижняя Силезия, август 1945 года

Очереди. Я умею стоять в очередях. Это дается мне так хорошо, потому что в очередях не надо думать, а можно просто стоять. В этой очереди стоять легко, потому что людей передо мной немного и потому что я понимаю, для чего она нужна, и это веская причина.

Перед головой очереди за столом сидит женщина официального вида – по-моему, она из Красного Креста. Это красивый стол, словно вынесенный на улицу из чьей-то столовой. Вот только он стоит не на ковре, а на брусчатой мостовой, место подсвечников на нем занимают стопки бумаг, и от него пахнет средством для полировки мебели – или же мне это кажется из-за того, как выглядит этот стол. А рядом с бумагами стоит одна-единственная чашка, словно напоминание о прежней жизни этого обеденного стола. Чашка чаю для сидящей за ним функционерки.

– Следующая, – говорит она, и мы движемся вперед, потому что именно так и работают очереди – они движутся вперед.

Я оборачиваюсь на дверь, но остальные девушки-ничегошницы не выходят, чтобы попрощаться. Из нас я покидаю госпиталь первой. В первые недели после окончания войны более здоровые пациентки, которые уже окрепли, всегда прощались, всегда строили планы. А посмотрев в окно палаты, мы почти всегда могли увидеть проезжающий мимо грузовик, полный немецких солдат, едущих к себе домой, польских солдат, возвращающихся к себе домой, русских солдат, изредка канадских, и все они разъезжались кто куда, все направлялись домой в разные стороны, как будто мир представлял собой настольную игру, в которой все фишки оказались не в тех углах коробки.

Но тогда никто из девушек-ничегошниц еще не был достаточно здоров, а потому мы так и не создали общих правил поведения для тех случаев, когда кто-то из нас уходил. У нас нет адресов, которыми мы могли бы обменяться, у нас нет ничего. Мы ничего не весим, ничего не чувствуем, и мы несколько лет существовали, питаясь ничем.

Наш разум представляет собой ничто, самое главное ничто, именно поэтому мы все еще и остаемся в госпитале. Наш разум слаб, и в нем царит раздраз.

– Зофья! Я не знала, хочешь ли ты сохранить это письмо.

Я оборачиваюсь на голос и вижу поспешно выходящую из двери светловолосую миниатюрную медсестру с красными губками бантиком. Она протягивает мне письмо, написанное моим собственным почерком. *«Вернуть отправителю»*. От-

правителем была я сама, а адресатом – я точно не знаю, кто был адресатом именно этого письма. Уже несколько месяцев, с того самого дня, как у меня достало сил держать ручку, я пишу письма всем, чьи адреса когда-либо знала. *«Вы его видели? Скажите ему, чтобы он подождал меня»*. Но их адреса перестали быть их адресами, а почта перестала быть почтой. А я перестала быть самой собой – но мне стало ясно, что я не смогу сделать то, что мне нужно, пока остаюсь на больничной койке. Чтобы отыскать брата, мне придется заставить себя оторваться от нее.

Именно поэтому я, невзирая на то что мой разум еще слаб, и стою сейчас вне госпитальных стен, а остальные девушки смотрят на меня из окна.

«Скажите ему, что врачи не разрешают покидать госпиталь, пока мне не стало лучше, – написала я. – Скажите ему, что мне не станет лучше, пока я не оставлю госпиталь и не разыщу его».

– Вот, возьми еще и это, – говорит светловолосая медсестра, передавая мне теплый на ощупь узелок. Еда. Ее тепло так приятно греет мой живот. Я начинаю разворачивать узелок, чтобы вернуть ткань, но сестра говорит, чтобы я оставила ее себе.

Так что теперь этот кусок клетчатой ткани принадлежит мне. Он мой, а значит, теперь в этом мире у меня есть целых шесть моих собственных вещей. Потом я смогу сложить эту ткань пополам и повязать ею волосы или разрезать ее

надвое, что даст мне два треугольных носовых платка; тогда у меня станет семь собственных вещей. У меня уже есть платье, нижнее белье, пара обуви, крупная денежная купюра, а также документ, в котором говорится, что я была узницей концлагеря Гросс-Розен. Мне сказали, что этот документ послужит пропуском в организации, оказывающие помощь жертвам войны, и поможет получать продуктовые пайки. Сотрудники Красного Креста, выдавшие мне его, объяснили, что он станет самым ценным моим достоянием.

– Следующая, – говорит женщина-функционер Красного Креста. Она примерно того же возраста, что и моя мать, и на лбу ее видны морщины, только-только начавшие делать ее лицо более мягким. Очередь позади меня удлинилась, поскольку из госпиталя вышли и другие выписывающиеся пациентки. На помощь первой функционерке подходит вторая.

Светловолосая медсестра не сводит с меня глаз.

– Ты что-то забыла? – спрашивает она.

«*Урбаняк, – вспоминаю я. – Ее фамилия Урбаняк.*»

– Моя обувь. Где моя обувь?

«*Почему я не поняла этого раньше?*» Я только что опустила взгляд на свои ноги, и увидела, что коричневые кожаные ботинки, в которые я обута, принадлежат не мне.

– Это и есть твоя обувь. Твоя новая обувь. Помнишь? – она говорит мягко, и я вспоминаю. Теперь эти коричневые ботинки мои, потому что, когда меня привезли в этот госпиталь несколько месяцев назад, на мне были башмаки, кото-

рые выдали нацисты, тесные и состоящие из одних дыр. Мои отмороженные ступни так распухли, что медсестра не смогла снять те башмаки, и ей пришлось их разрезать. Сестры говорили, что я тогда плакала, но сама я этого не помню.

Оказывается, если тебе ампутировать отмороженные пальцы ног, третий и четвертый, ты не утрачиваешь способности держать равновесие и ходить.

– Ты уверена, что не хочешь остаться подольше, Зофья?

– Теперь я вспомнила про обувь. Я забыла только на минутку.

– Сегодня ты уже один раз спрашивала о ней.

Я выдавливаю из себя улыбку.

– Дима уезжает; он едет на новое место службы, и у него есть машина, на которой он меня отвезет.

Лейтенант Дима и привез меня в этот госпиталь, только тогда это был не госпиталь, а просто здание, под завязку забитое койками и пузырьками с йодом. А принадлежащий Красной армии джип Димы был забит людьми. Три дня назад русские освободили Гросс-Розен, но в конце концов стало ясно, что никто из нас, даже русские солдаты, понятия не имеет, как должно выглядеть освобождение тех, кого нацисты содержали в концлагерях. Сотни и сотни наших так не смогли выйти за лагерные ворота, потому что были слишком слабы. Когда Дима нашел меня в женском бараке, я была почти без чувств – потом он рассказал мне об этом на польском, которому его научила родная мать. И хорошо, что я

тогда была в обмороке, поскольку к тому времени, когда он привел меня в чувство, солдаты уже отдали узникам все свои сытные пайки – размякший шоколад, говяжью тушенку.

А наши желудки оказались слишком слабыми для такой питательной пищи. Я видела, как узницы, месяцами жившие на одной картошине в день, поедали тушенку и больше не могли встать с нар. Нас освободили, но мы продолжали умирать и умирали десятками.

– *Все уже закончилось*, – говорили нам солдаты в конце января. Однако война тогда все еще шла, она продолжалась еще три месяца, и солдаты имели в виду другое – они хотели сказать, что эсэсовцы к нам больше не придут.

– *Теперь все уже точно закончилось*, – говорили нам медсестры в мае, поя нас с ложечки подслащенной водой и корня овсяной кашей. Как-то раз в коридоре госпиталя раздались крики и аплодисменты – Германия капитулировала.

Что же именно закончилось? Что они хотели этим сказать? Я находилась в сотнях миль от дома, и у меня не было ничего – даже ботинки у меня на ногах были не мои. Так что же закончилось? Что?

– Следующая, – говорит сотрудница Красного Креста, и я делаю еще один шаг вперед.

Появляется облако дыма, урчит движок – подъезжает Дима на своем джипе. Увидев в очереди меня, он выскакивает из машины, и меня опять поражает его вид – как же он похож на киногероя с афиши, на киношного солдата. Квадратный

подбородок. Красиво очерченные скулы. Хорошие глаза. Дима, который ставил на мои письма почтовый штамп, который по моей просьбе спрашивал своих друзей-офицеров про Биркенау и узнал, что этот лагерь смерти был освобожден за несколько недель до Гросс-Розена. И который повторял мне это, когда я забывала, и потом повторял еще и еще, когда я забывала опять: *«Помнишь, Зофья? Мы уже это обсуждали»*. – Моя память подобна решету, и мне разрешили оставить госпиталь только благодаря Диме – потому что он едет вместе со мной.

– Я бы вошел внутрь, Зофья. – Он кладет руки мне на плечи. Над одним ухом волосы у него короче, чем над другим – должно быть, он подстриг их сам, глядя на себя в зеркало. – Ты слишком устаешь. Ты знаешь, что я беспокоюсь о тебе.

– Мне надо выстоять эту очередь.

– Ее нужно оформить, – объясняет сестра Урбаняк. – Ведь организации, помогающие жертвам войны, ведут их учет.

Слышится стук по стеклу, словно его клюет птичка. Я смотрю вверх и вижу, что за моей спиной на втором этаже госпиталя стоят проснувшиеся девушки-ничегошницы, стуча по стеклу и махая руками. Они машут не только мне, но и Диме – они любят его. Он приветственно машет в ответ.

– Следующая, – говорит сотрудница Красного Креста. До меня не сразу доходит, что моя очередь наконец подошла. Женщина одета в голубой однобортный костюм. Мое платье тоже голубого цвета – медсестра, которая дала мне его, ска-

зала, что оно хорошо сочетается с моими волосами и цветом глаз. *Доброжелательная ложь*. Вначале у меня имелись проплешины, вся голова была покрыта струпьями, а те волосы, которые остались, были короткими, как у мальчика. Сейчас они отросли и доходят мне почти до подбородка, но вместо копны блестящих кудрей у меня теперь редкие тускло-мышинные волосенки. Глаза мои и теперь все еще имеют цвет пустоты.

– Фрейлейн? – говорит полная немолодая женщина из Красного Креста. – Фрейлейн?

– Зофья Ледерман, – говорю я и жду, когда она пометит мое имя галочкой в своих бумагах.

– Значит, вы возвращаетесь домой?

– Да. В Сосновец.

– И кого бы вы хотели внести в свой список? – Я смотрю на нее, и она видит, что я ничего не понимаю. – Вы можете назвать мне имена?

– Имена? – Я знаю, то, что она говорит, наверняка имеет смысл, но мой мозг опять застлал туман, и он не может уразуметь, что значат ее слова. Я поворачиваюсь за помощью к Диме и сестре Урбаняк.

Женщина за столом кладет ладонь на мою руку, и я поворачиваюсь к ней. Ее тон, прежде отрывистый и официальный, становится мягче.

– Вы не понимаете? Мы заносим в журнал как сведения о том, куда вы направляетесь, так и имена членов вашей семьи,

которых вы хотите найти. Вас кто-то может искать?

Имена. Несколько месяцев назад, придя в сознание, я уже делала это в беседе с сотрудницами благотворительных организаций. Ничего у них так и не вышло, и теперь у меня больно сжимается горло, когда я произношу его имя.

– Абек. Мой брат, Абек Ледерман.

– Сколько ему лет?

– Сейчас ему должно быть двенадцать лет.

– Вам что-нибудь известно относительно того, где он может быть?

– Нас обоих отправили в Биркенау, но меня дважды переводили – сначала на текстильную фабрику в Нойштадте, а затем в Гросс-Розен. Последний раз я видела его более трех лет назад.

Она записывает все, что я говорю.

– Кого еще вы хотели бы отыскать?

– Только Абека.

Только Абека. Поэтому-то мне и нужно вернуться домой. Биркенау освободили раньше, чем Гросс-Розен. Возможно, Абек уже ждет меня.

– Вы уверены, что больше никого не хотите искать? – Ее ручка застывает над пустой строкой – она пытается понять, как объяснить мне все поделикатнее. – Мы пришли к выводу, что лучше раскинуть как можно более широкую сеть. Лучше искать не только ближайшую родню, но и двоюродных братьев и сестер, и дальних родственников. Это повысит

шансы найти хоть кого-то.

– Мне не нужно никого добавлять.

Дальних родственников. Она имеет в виду другое, но ее слова напоминают мне моего старого учителя, который приносил на уроки конфеты. *«Не привередничайте»*, – предупредил он нас, ходя по классу с вазой, в которой лежали конфеты.

Не привередничай. Можешь считать, что тебе повезет, если ты найдешь хоть кого-то из родни; просто назови их имена.

– Посмотрите на эти незаполненные строчки. – Женщина из Красного Креста показывает мне на открытую перед ней страницу и говорит со мной терпеливо, словно с ребенком. – Как видите, здесь много места, так что можно добавить столько имен, сколько вам хочется. Если вы ищете только одного человека – одного-единственного во всей Европе, – то эта задача может оказаться невыполнимой.

Одного человека. Это невыполнимо.

Я смотрю на незаполненные строчки. Их было бы недостаточно, даже не близко. Здесь не хватило бы места для рассказа обо всех тех людях, которых я потеряла. Я зажмуриваюсь, пытаюсь не давать моим мыслям растекаться, потому что знаю: все это время медсестры были неправы. Порой мне бывает трудно отнюдь не тогда, когда я пытаюсь что-то вспомнить – нет, мне бывает трудно забыть.

Я слышу, как Дима, стоящий за моей спиной, перемина-

ется с ноги на ногу. Я понимаю, что он обеспокоен и думает, не нужно ли ему мне помочь.

Если бы на этом листе бумаги было достаточно незаполненных строчек, я бы начала вот так:

Двенадцатого августа 1942 года всем евреям, оставшимся в Сосновце, приказали явиться на футбольный стадион. В распоряжении было сказано, что там нам выдадут новые удостоверения личности. Даже тогда это вызвало у нас подозрение, но вы должны понять, сказала бы я сотруднице Красного Креста, – *вы должны понять*, – что к тому времени немцы оккупировали наш город уже три года. И мы успели привыкнуть к их произвольным приказам, которые порой были ужасны, а порой достаточно безобидны. Я бы рассказала ей, как мою семью выселили из нашей квартиры и велели нам переехать в другую, на противоположном конце города, всего лишь по той причине, что на карте начертили границы гетто, где отныне должны были проживать евреи. Рассказала бы я и о том, что баба Роза и я уже изготовили для нас всех желтые шестиконечные звезды, которые мы должны были носить на одежде, вырезав их с помощью трафарета, напечатанного в газете.

Папа уже как-то являлся на стадион – немцы приказали явиться туда всем нашим мужчинам. Тогда их вернули, они разошлись по домам, смертельно бледные и не желающие говорить о том, что они видели. *Они вернулись*.

Я бы сказала этой женщине из Красного Креста, что мы

могли выживать только с помощью наших удостоверений личности. Без такого удостоверения нельзя было ни пройти по улице, ни купить еду. Поэтому нам пришлось отправиться на стадион и при этом надеть самую лучшую нашу одежду. Таков был приказ, и мы черпали в этом утешение, полагая, что немцы, возможно, и в самом деле собирались сфотографировать нас для выдачи новых удостоверений личности.

Но когда мы пришли туда, там не было фотоаппаратов. А были лишь немецкие военные. И они только и делали, что рассортировывали нас. По здоровью. По возрасту. Тех, кто выглядел крепким, в одну группу, слабых, старых и семьи с маленькими детьми в другую. В одну колонну были выстроены те, кто будет работать на фабриках и заводах. В другую – те, кого отправят в концлагеря.

На это уходили часы. Уходили дни. На поле нас были тысячи. Им надо было рассортировать всех. И всех опросить относительно имеющихся у нас особых навыков и умений. Периметр поля оцепили эсэсовцы. За спинами моей семьи молился старик-аптекарь, и двое солдат подошли к нему и начали над ним насмехаться. Один из них сбил с него шляпу, второй ударил его коленом и повалил на землю. Мой отец побежал к нему, чтобы помочь встать – я знала, что он поступит именно так, ведь он всегда был добр к старикам. Мы с мамой просили его не вмешиваться, и я еще подумала: *«Какой в этом смысл?»*

Мы с мамой по очереди обнимали Абека и рассказывали

ему сказки: «Принцессу-лягушку», «Медведя в лесной избушке», «Вихрь».

Абек был высок для своего возраста и потому выглядел старше. Когда мы смекнули, по какому принципу немцы нас сортируют, нам стало ясно, что это важно. «Абек, – сказала мама, – тебе не девять лет, а двенадцать, ты понял? Тебе двенадцать, и ты уже год работаешь на фабрике твоего отца».

И мы принялись успокаивать себя. Мы посмотрели на бабу Розу, мою добрую, терпеливую бабушку, и сказали себе, что она выглядит намного моложе своих шестидесяти семи лет. И что никто в Сосновце и в подметки ей не годится в умении шить. Те, кто покупал костюмы и юбки у нашего семейного предприятия, делали это благодаря вышивкам бабы Розы, и, конечно же, это могло считаться особым навыком.

Мы уверили себя, что кашель мамы, из-за которого она в последние месяцы ослабела и стала задыхаться и который начинался уже и у Абека, почти незаметен. А еще мы говорили себе, что никто никогда не разглядит, что тетя Майя хромает.

– *Пощипай свои щеки*, – сказала мне тетя Майя. – *Когда они к тебе подойдут, успеешь пощипать щеки, чтобы выглядеть полной жизни.*

Тетя Майя была так красива, и у нее был такой веселый смех, что никто из ее поклонников не замечал, что она не совсем здорова и передвигается не скользя, а шатаясь. Она

была куда моложе мамы и всего на девять лет старше меня. Она часто советовала мне пощипать щеки, чтобы я стала такой же красоткой, как она. Но теперь это было нужно, чтобы мы обе остались в живых.

Стемнело, и начался дождь. Мы открыли рты, чтобы ловить его капли, ведь нам уже несколько дней не давали ни есть, ни пить. С минуту нам было приятно ощущать воду на нашей коже, успевшей обгореть на солнце, но затем мы замерзли. Сидящий рядом со мной Абек взял меня за руку.

– *И принц Добротек залез коню в левое ухо,* – сказала я, в очередной раз пересказывая сказку «Вихрь». Я всегда хорошо рассказывала истории. – *А помнишь, во что он был одет, когда вылез с другой стороны?*

– *В золоченые доспехи,* – ответил Абек. – *А потом он вскочил на коня и поскакал к движущейся горе.*

– *Пощипай щеки,* – шепнула мне тетя Майя. – *Зофья, пощипай щеки и улыбнись.*

Я подошла к солдатам, держа за руку Абека и таща его за собой.

– *Мне пятнадцать лет,* – сказала я им. – *Я умею шить и работать на ткацком станке. Моему брату двенадцать.*

Теперь вам понятно, почему на бланке, лежащем перед сотрудницей Красного Креста не хватило бы места, чтобы записать весь этот рассказ? На то, чтобы записать мои объяснения, у нее ушли бы часы. У нее закончились бы чернила. И есть еще слишком много других евреев и миллионы про-

павших без вести, сведения о которых ей нужно собрать.

Вперед выходит Дима.

– У Зофьи больше нет имен. Она нездорова.

– Я могу это сделать, – возражаю я, но я не уверена даже в том, что имела в виду, говоря *это*. То, что я могу и дальше стоять в этой очереди? То, что я могу выздороветь?

Сотрудница Красного Креста кладет бланк со своими записями обо мне на стопку других, Дима протягивает мне руку, и я вкладываю в нее свою. Потом сажусь на пассажирское сиденье джипа, и он накрывает мои колени своей шинелью, а сестра Урбаняк ставит узелок с едой на пол у моих ног.

Мне надо было сказать той функционерке вот что: «Я точно знаю, что мне нет нужды вносить в список другие имена, потому что, рассортировав евреев, немцы отправили нас в Биркенау. А в Биркенауе мы снова выстроились в одну шеренгу, которую разделили на две. Тех, кому повезло, отправили на каторжные работы. А что до тех, кому не повезло, – мы видели валящий из печей дым. Дым от сгорания трупов тех, кому не повезло».

Там, в Биркенауе, меня и Абека повели направо.

На этом континенте мне нужно отыскать только одного человека. Мне нужно вернуться домой, нужно выжить. И необходимо заставить мой мозг работать ради одного-единственного человека.

Потому что все остальные: папа, мама, баба Роза, красивая тетя Майя – когда Сосновец очистили от евреев, их всех

повели налево.

А

Дима медленно едет по тому, что, видимо, было главной улицей этого городка. Я вижу женщину, подметающую крыльцо своего дома. То есть я предполагаю, что это был именно ее дом. И что прежде это было крыльцом. На самом деле она замечает мелкие камешки в совок для мусора и с него высыпает их в мусорный ящик. За ее спиной нет ничего. Груда обломков и доходящие только до пояса остатки кирпичных стен, в которых угадывается дверной проем. Возможно, этот дом был разрушен недавно, его уничтожили бомбы или снаряды союзников, а возможно, его разрушили немцы, и это было уже давно. Ведь иностранные войска входили на территорию Польши дважды. Да и Польша ли это? Границы все время сдвигаются. Я впервые отъехала так далеко от госпиталя. Там из окна нашей палаты был виден только наполовину заколоченный досками шляпный магазин, в витрине которого не было шляп. *«Как вы думаете, что мы купим, когда окрепнем?»* – спросила как-то раз женщина, которую мы называли Биссель. *«Думаю, мы не купим ничего, – ответила я. – Ведь сейчас ничего не продается».*

Польский, на котором изъясняется Дима, довольно примитивен, и он помогает себе жестами.

– Хочешь есть? – спрашивает он, когда булыжная мостовая сменяется грунтовкой. – Под сиденьем есть леденцы.

– Нет, спасибо.

– Все равно посмотри, – с гордостью говорит он. – Это сюрприз.

Я послушно шарю под сиденьем и нахожу пакет леденцов, а рядом – что-то прямоугольное и гладкое. Модный журнал. Похоже, американский. Вот картинка, на которой изображена женщина в шикарной красной шляпке. Когда Дима в первый раз навестил меня в госпитале после того, как я пришла в себя, то спросил, не надо ли мне что-то принести, и я ответила: *губную помаду*. По нему было заметно: ему понравилось, что запаршивевшая, вконец истощенная девушка хочет выглядеть красивой. Я не сказала ему, что мне просто хочется унять боль в потрескавшихся губах. Вряд ли он мог знать, как по-польски будет *пчелиный воск* или *вазелин*. Но возможно, подумала я, он знает слова *губная помада*.

– Удобно? – спрашивает он.

– Да.

– Одеяло? – Он кивком показывает на заднее сиденье.

– Мне не холодно.

– Но тебе холодно каждый день. – Он хмурится. Он был так доволен собой и тем, что подумал об одеяле, и теперь огорчился из-за того, что оно мне не нужно. Я поворачиваюсь, беру одеяло с заднего сиденья и накрываю им плечи. Дима одобрительно улыбается.

– Спасибо, – говорю я. – Ты очень добр.

– Важный день, – замечает он. – Мы скоро приедем. Ма-

шина быстрая. А пока отдохни.

Я прислоняюсь боком к двери машины, но не закрываю глаза. Дорога усеяна всяким хламом. Разбитые колеса от повозок, брошенные хомуты, прохудившиеся бидоны для молока. Каждый из этих предметов, думаю я, некогда принадлежал какой-то семье, которую остановили или схватили, или же люди просто слишком устали, чтобы нести поклажу. Сначала они избавлялись от всяких пустяков, таких как музыкальные шкатулки или шелковые шали, а затем и от всех остальных пожитков, не нужных для того, чтобы просто-напросто остаться в живых. А поскольку выживать можно, не имея почти ничего, они бросали все. Разбитые колеса от повозок, брошенные хомуты, прохудившиеся бидоны для молока. Каждый из этих предметов некогда принадлежал какой-то семье, которую остановили или...

Прекрати, говорю я себе, пытаюсь разорвать круг. *Прекрати*. Теперь это случается со мной сплошь и рядом. Мой мозг спотыкается. Или повторяет одно и то же, как заевшая патефонная пластинка. Он не дает мне думать об одних вещах, а о других не перестает думать опять и опять. Иногда с ним бывает все в порядке, он выздоравливает. Но в других случаях пусковым механизмом становятся какие-то вещи, которые я не могу предсказать. Это что-то вроде гололеда, никогда не знаешь, где он есть, а где его нет.

Я смотрю на противоположную сторону дороги, на холмистые сельскохозяйственные угодья, пытаюсь заставить себя

подумать о чем-то другом. Хлама там не видно, впереди простирается вспаханная земля, бурая и рыхлая, и на нее мне тоже тяжело смотреть.

Иногда дело было не в том, что семья уставала, а в том, что людей просто расстреливали на месте. Иногда целые деревни превращались в братские могилы. Я зажмуриваю глаза.

«Все кончено, кончено, кончено».

Когда-то мне нравился запах земли. Когда на каникулы мы ездили в деревню, я с Абеком палками чертила на земле буквы; я учила его алфавиту.

А – Абек.

В чем же дело – может быть, сейчас я чувю что-то лежащее под этой вспаханной землей, что-то зловонное и ужасное?

В – баба Роза.

– Может, остановимся, чтобы пообедать? – предлагает Дима, и при звуке его голоса, прервавшем мои мысли, я чувствую облегчение.

– Ты не против, если мы просто поедем дальше? Мне хочется поскорее доехать до Абека. Если, конечно, ты не хочешь сделать остановку, – поспешно добавляю я. Мы с Димой впервые так надолго остаемся вместе, сегодня он вывел меня с территории госпиталя. Но если ему это и кажется странным, он не подает виду.

– Нет, мы можем ехать дальше. Я хочу довести тебя до дома. Хочешь чего-нибудь еще? Воды? Или подвигать ноги?

– Размять ноги, – поправляю его я.

– Размять?

– Да, надо говорить так. Это идиома. То есть такое выражение.

– Тебе нужно размять ноги? – Он доволен, что выучил новое выражение – протянув руку, он хлопает меня по коленке.

«Тебе повезло, – говорили мне другие девушки-ничегошницы. – *Будь с ним ласковой*».

Не знаю, случайно ли Диму перевели в Сосновец. Возможно, он сам попросил о переводе туда. Мне не хотелось спрашивать его об этом – я считала, что лучше не вносить ясность в наши отношения.

– Нет, я... мы не могли бы просто ехать дальше? – спрашиваю я. – Для меня это было бы лучше всего. Может быть, ты мог бы рассказать мне какую-то историю. Или я могу попробовать отдохнуть.

В его глазах сразу же отражается участие.

– Да. Тебе надо отдохнуть. Отдыхай, а я отвезу нас домой.

* * *

Я вовсе не собиралась закрывать глаза – я искала тишины и покоя, а не сна. Но, видимо, они закрылись сами, потому что внезапно я чувствую, что машина резко останавливается.

– Зофья. – Дима осторожно трясет меня за плечо.

Мои глаза открываются, я осматриваюсь по сторонам. Местность стала более ровной, солнце уже находится в сере-

дине неба – выходит, прошло несколько часов. Дима широко улыбается, показывая на что-то, находящееся за ветровым стеклом.

Поначалу я не понимаю, на что мне нужно смотреть, а когда до меня доходит, не верю своим глазам. Деревянная табличка с аккуратно выведенными буквами.

– Как, уже? – задыхнувшись, выговариваю я.

– Я же тебе говорил – это хорошая машина. Быстрая.

SOSNOWITZ – гласит надпись на табличке. Когда немцы явились в Сосновец, они дали ему немецкое имя.

Но я имела в виду отнюдь не скорость машины, не то, что она быстрая. *«Неужели мы тут? Неужели я уже дома?»* Куда легче было воображать, что зло творилось не здесь, а где-то далеко. На другом континенте. Но Биркенау, первый лагерь смерти, в который мы попали, расположен всего в двадцать пять километрах от моего города.

– Это здесь, да? – спрашивает Дима. Он остановил свой джип и глядит на меня с удивлением. Моя реакция отличается от той, которую он ожидал.

– Да, здесь.

– Скажи мне, куда ехать теперь.

Я сглатываю, смотрю по сторонам.

– Домой. К Абеку.

– В какую сторону?

Мы стоим неподалеку от окраины Сосновца. Вокруг разбросаны маленькие крестьянские хозяйства, маленькие

участки земли. Когда мы подъедем ближе к центру, дома будут стоять чаще и среди них будут многоквартирные, в три или четыре этажа. Вдалеке я вижу заводской район; если бы мы сейчас были ближе к нему, я смогла бы различить сажу, выбрасываемую из труб заводов – она висит в воздухе над трамвайными проводами. Широкие мощеные площади. Электрические фонари на улицах, закусовые, в которых обедают рабочие, торопясь наестись в свой обеденный перерыв.

– Зофья?

Я собираюсь с мыслями. Есть два адреса, которые я могла бы назвать Диме. Первый находится в районе, называемом Шродула, на окраине города, в еврейском гетто, в которое мою семью загнали, когда мне было тринадцать лет. Груды мусора на улицах, разрушающиеся стены, пустыри. Нам шестерым приходилось ютиться в одной комнате.

Второй адрес – это мой настоящий дом, тот, который принадлежал бабе Розе – там выросла моя мать, а когда она вышла замуж за моего отца, туда переехал и он. Этот дом находится ближе к центру.

– Поверни направо, – говорю я. К нашему настоящему дому. Я планировала встретиться с Абеком именно там. Так я ему и сказала: *«Повтори адрес, Абек. Помнишь растущие там березы?»* А что, если он уже давно ждет меня там, ждет один-одинешенек? *«Я старалась выздороветь быстрее, Абек. Правда, старалась»*.

Дима поворачивает, и гравийная дорога сменяется мощеной. Мы проезжаем мимо мужчин в простой рабочей одежде, затем их сменяют мужчины в костюмах и шляпах. Дима приветственно поднимает руку, и один прохожий осторожно машет в ответ, но остальные словно не замечают нас вообще.

– Что это? – спрашивает Дима, показывая на ветровое стекло, на виднеющуюся среди зданий зелень.

– Это Селецкий парк. Иногда мы приезжали сюда на школьные экскурсии.

– А! – Несколько минут спустя он показывает рукой на что-то еще. – А что вот это?

Дима так радуется, осматривая город, будто он и сам здесь на экскурсии со своей школой, будто мы вместе приехали сюда на каникулы. В госпитале нас готовили к этому, говорили, что по возвращении домой у нас могут возникнуть странные чувства, но такого я не ожидала. Внутри у меня все сжалось, во рту металлический вкус.

– Это замок? – Дима показывает на самое нарядное из виденных нами зданий.

– Это вокзал. Раньше по выходным там открывался рынок. Мы называем Сосновец... – Я замолкаю, потому что даже это воспоминание, не имеющее никакого отношения к делу, вызывает у меня душевную боль. – Мы называем его Сковородкой.

Мой прекрасный безобразный город. Сосновец не похож на красивые города вроде Кракова, в который мама возила

меня на праздничные обеды, когда наступал мой день рождения. В Сосновце промышленные магнаты строили свои заводы: здесь выплавляли чугун, варили сталь, изготавливали канаты и краски. Улицы в городе широкие, здания функциональные, в воздухе полно дыма. Главное здесь – польза, а не шарм. Кто может любить город, который прозвали Сквородкой?

Моя семья любила его. Мы и не подозревали, что наша любовь к городу настолько безответна.

Я знаю, что многие в Польше оказывали сопротивление немецким войскам: Армия крайова, Национальные вооруженные силы, Еврейский воинский союз – все они боролись против оккупантов. Я знаю – я услышала об этом позже, – что в Варшаве было восстание, что город более шестидесяти дней воевал против нацистов, поэтому-то Варшавы, можно сказать, больше и нет, немцы покарали город, стерев его с лица земли.

Но мне также известно, что, когда немцы вошли в Сосновец, многие жители города уже отлично выучили нацистское приветствие.

Окружающий пейзаж становится более знакомым, теперь все вокруг напоминает мне о моей семье. Мы проезжаем мимо библиотеки, во всяком случае, раньше в этом здании была именно она. А вот рынок, на котором мы покупали провизию в ту неделю, когда произошло вторжение. Было самое начало сентября, и наши буфеты и кладовые стояли пусты,

поскольку мы только что вернулись из отпуска и с каникул. В магазине основные продовольственные товары, такие как хлеб, были уже раскуплены, и оставались только деликатесы. Например, блины, чтобы делать блинчики с мясом. Стеклянные банки с вареньем из ревеня, стоящие рядами за спиной растерянного хозяина магазина.

– Мы купим все, – тихо сказала мама.

И в первые две недели немецкой оккупации мы питались так, словно у нас был праздник.

* * *

Джип объезжает вокруг здания из красного кирпича с арками, украшенными по краям известняком, и я не дожидаясь очередного вопроса Димы. – Это дворец Дителя, – говорю я. – Хайнрих Дитель первым стал строить в Сосновце текстильные фабрики.

Когда я произношу слова «дворец Дителя», мое сердце начинает биться чаще и пересыхает во рту. Значит, скоро мы подедем к моему дому. Именно по этой дороге ходил мой отец, когда направлялся на свою фабрику.

Я всматриваюсь в дворец Дителя и вижу, что на его воротах вывешен не флаг семьи Дитель – на них развевается красное знамя с желтым серпом и молотом и пятиконечной звездой.

– Наверное, тебе надо сюда, Дима. – Я показываю на со-

ветский флаг.

Его лицо светлеет.

– Да. Я остановлюсь здесь, а потом отвезу тебя к твоему дому, хорошо?

Меня охватывает паника, сердце колотится еще быстрее.

– Нет! Сначала мне нужно добраться до моего дома.

У него вытягивается лицо.

– Это займет всего несколько минут.

Я подавляю раздражение и уже берусь за ручку двери.

– И до моего дома всего несколько минут.

– Но, Зофья. – Кажется, моя невесть откуда взявшаяся храбрость ошеломила его – она ошеломляет и меня саму.

– Тебе надо идти туда. Уверена, что ты хочешь доложить о своем прибытии старшим офицерам.

«А мой брат, возможно, уже дома, и я не могу ждать. И не хочу встречаться с ним на глазах у других».

– Ты будешь беречь себя, пока меня не будет? – неохотно спрашивает он.

– Я могу записать адрес, и ты сможешь приехать ко мне, когда закончишь свои дела.

В конце концов я уговариваю его. Я не лгала – до моего дома и вправду всего несколько кварталов, а если срезать путь по проулкам, идти придется и того меньше, и именно это мои ноги делают сами – я бегу, бегу по камням, и моя нога, на которой ампутированы пальцы, болит. Я не могу бегать; я уже несколько лет слишком слаба для этого, однако я

все-таки бегу, и мое сердце разрывается в груди.

И вот я уже почти на месте. На белой табличке написано название улицы: «МАРЬЯЦКАЯ».

Это короткая улица, в основном состоящая из многоквартирных домов. Наш дом стоит на ее середине, он четырехэтажный и выстроен из розоватого песчаника.

Я тысячу раз репетировала этот момент. Что я сделаю, если на месте окажется наш старый швейцар. Что я буду делать, если там другой швейцар, который не знает меня.

Но у входа никого нет. Никто не останавливает меня, не мешает войти, и я толкаю дубовую входную дверь. В вестибюле все тот же мраморный пол. Та же мерцающая лампочка. «Я дома».

Возле ряда почтовых ящиков я останавливаюсь. Засунув руку в наш ящик, я нащупываю латунный ключ – он приклеен скотчем там, где никто бы его не нащупал, если бы не знал, где искать. Тяжелый фигурный ключ падает в мою ладонь, а скотч рассыпается, превратившись в бурые хлопья.

Может быть, Абек уже дома и ждет меня. Мое сердце трепещет, полное надежды, пока я бегу по лестнице вверх. Огонь в печи. Чистое белье на кроватях.

Едва я дотрагиваюсь до дверной ручки, как дверь открывается.

В

– Абек! – Я вбегаю в прихожую. – Абек? Ты тут?

Прямо передо мной, в гостиной, я вижу мебель, но ее мало, и она не наша. Посреди комнаты расстелен ковер, слишком современный, бабе Розе он был бы не по вкусу. На нем стоят не знакомый мне шезлонг и несколько хилых на вид стульев.

Должно быть, я нахожусь не в той квартире, не на четвертом, а на третьем этаже. Должно быть, я опять все перепутала.

Но нет, отсюда я вижу в середине пола гостиной три круглых пятна от воды. Не могли же они перебраться в нижнюю квартиру. *Шесть лет.* Я не была в этом доме уже шесть лет. Я не перепутала квартиру. Просто с тех пор, как я покинула ее, собственная ее жизнь шла своим чередом.

Я дома. *Я дома.* Звук, слетающий с моих уст – это нечто среднее между вскриком и всхлипом.

Воздух здесь остался таким же, каким и был, жарким и душным. Мама всегда говорила, что это неизбежный минус проживания на верхнем этаже. Что это? Неужели я чую едва различимый запах табачного дыма от сигареты, которую тетья Майя всякий раз выкуривала на ночь? Я опускаю взгляд и обнаруживаю, что, сама того не сознавая, сняла обувь. Я не делала этого уже давным-давно. Даже по ночам. Я спала,

держа обувь в руках, чтобы ее не украли, чтобы быть готовой бежать. *«Это потому, что сегодня четверг. По четвергам мама всегда мыла полы».*

Мои ноги не забыли, что нужно разуться, а руки не забыли положить узелок с едой туда, где раньше стоял комод.

– Это я, – не забывает сказать мой голос, и, возможно, в этой квартире мой голос вспомнил, что прежде он был выше. Что он был резче, и в нем звучала уверенность.

Сейчас единственным ответом ему становится эхо.

Сначала комната Абека. Я пытаюсь сосредоточиться, идя к самой маленькой из комнат, находящейся в конце коридора. Мои ступни липнут к натертому мастикой паркету из древесины грецкого ореха – *раньше здесь лежала ковровая дорожка,* – я толкаю резную дверь. Небесно-голубые стены – немцы не стали менять их цвет. Белая отделка, занавески на окне.

Но это единственное, что мне знакомо. Мебели тут нет. Пропала даже кровать. В углу лежит груда мятого постельного белья, но я не могу сказать, спал ли здесь кто-то в недавнем прошлом, или же белье бросили те, кто украл кровать. Когда я подношу к носу простыню, от нее слегка пахнет плесенью. Стенной шкаф Абека пуст. Нет ни книжек с картинками, ни коллекционных машинок, ни одинокого, случайно зацепившегося за дверцу носка.

Пройдя назад, я захожу в соседнюю комнату – это была спальня моих родителей – затем в комнату бабы Розы, и в

каждой пустой комнате чувствую, что моему мозгу хочется разлететься на куски.

Моя комната, та, которую я делила с тетей Майей. Ее стены обшиты панелями из темного дерева – пока дедушка не умер, здесь был его кабинет. Отсюда тоже пропали кровати. Я оглядываю стены – когда-то я наклеила на них рекламные плакаты железнодорожных компаний с изображениями достопримечательностей. Кто-то пытался их соскрести, но я все еще могу различить половину Эйфелевой башни.

Если Абек побывал здесь, он бы оставил мне что-то именно в моей комнате – письмо или какой-то знак. В этом я уверена. Что-то, говорящее: *«Я тут был. Подожди меня»*. И я подбираю валяющееся у плинтуса заплесневелое полотенце, трясусь его, затем провожу кончиками пальцев по подоконнику в надежде на то, что в раму засунут листок бумаги.

В моем стенном шкафу висят голые деревянные вешалки, а на верхней полке лежит не знакомый мне мягкий саквояж. Я беру его, переворачиваю, но из него ничего не выпадает. Он пуст, и у него сломана застежка – потерянная багажная принадлежность, которую те, кто здесь жил после нас, даже не потрудились забрать с собой.

Они оставили мне хлам. Они не оставили мне ничего. Они не оставили ничего нам с братом. Теперь эта квартира кажется мне одновременно и хорошо знакомой, и чужой. *Как что-то может казаться сразу и чрезмерным, и недостаточным?*

На полу стенного шкафа стоит деревянный сундук, он прячется в уголке, как будто его поместили сюда нарочно, а не просто оставили второпях. Мое сердцебиение учащается, и я падаю на колени.

Сундук тяжел, он царапает пол. И тут со стороны парадной двери доносится знакомый шум. Там кто-то есть.

– Абек!

Я бегу по коридору обратно и резко останавливаюсь, добежав до прихожей. Перед открытой дверью стоит женщина, тонкая, как тростинка, с половой щеткой наперевес. Увидев меня, она вздрагивает и смотрит поверх моего плеча, словно желая убедиться, что я здесь одна.

– Пани Войцик? – говорю я. Это моя соседка. На ее лице я замечаю морщины, которых не было, когда мы виделись в последний раз, ее волосы поседели. – Пани Войцик, я Зофья. Зофья Ледерман.

Ее глаза моргают, но она не ставит щетку на пол – только чуть-чуть опускает ее. – Зофья?

Я подхожу ближе. Пани Войцик я знала хуже остальных наших соседей по этажу, но сейчас ее вид радует меня едва ли не до слез. Она из прошлого. Единственное полученное мною свидетельство того, что хотя бы часть моей прежней жизни может существовать и теперь.

– Да, это я. А о ком подумали вы?

– Я думала, это бродяги, самовольно вселившиеся в дом.

– Значит, вот кто здесь жил?

– Какое-то время здесь жила приятная немецкая пара, но потом...

– Похоже, они уехали.

– Да, незадолго до того, как все закончилось, а потом здесь бывали только бродяги. Мне приходилось их гонять, поскольку из-за них в доме становилось опасно жить. – Она смотрит на меня, как будто ожидает, что я каким-то образом объясню появление этих бродяг, и, когда оказывается, что я не могу ничего объяснить, вздыхает. – Как бы то ни было, ты вернулась.

– Да, вернулась, – зачем-то повторяю я.

Она ставит щетку сбоку от себя и оглядывается по сторонам, замечая скудную мебель, поломанные стулья.

– Здесь мало что осталось, верно?

– Думаю, бродяги вынесли мебель.

Она пожимает плечами.

– Или сожгли. Здесь бывало холодно.

– Ах, вот оно что, – произношу я, и мы пристально смотрим друг на друга. Я больше не знаю, как мне говорить с моей соседкой. *«Как там ваши маки? По-прежнему растут и цветут? Ваши собаки все так же здоровы?»* Когда я видела пани Войчик в последний раз, она гуляла с ними по улице, и тут немецкий военный потребовал, чтобы я показала ему свои документы. Он потребовал того же у какого-то мужчины, и этого мужчину схватили за подмышки и увели. *«Пани Войчик, у вас на глазах схватили еще много людей? Как вы*

пережили остальное время войны?»

Пани Войцик, похоже, также не знает, что сказать. После неловкого молчания она кладет руку на дверную ручку и поднимает брови, смущенно прощаясь.

– Подождите, – говорю я. Когда она снова поворачивается ко мне, ее движения кажутся мне усталыми. – Пани Войцик, до меня сюда кто-то приходил? Я имею в виду не бродяг, а человека из моей семьи.

Я не могу заставить себя произнести имя Абека, но мне также не хочется объяснять, почему остальные члены моей семьи больше не вернутся сюда никогда.

Она уверенно качает головой.

– Нет, ты первая. И я узнала тебя с трудом.

– Это точно? Сюда не приходил мой брат?

– Я не видела тут никого из вашей семьи. Если честно, я не думала, что кто-то из вас вернется.

Она снова замолкает, крутя дверную ручку, но так и не переступая порог. Как будто пытается придумать, что еще может мне сказать.

– У нас здесь больше нет мусорщика, – говорит она наконец. – Если тебе надо что-то выбросить, приходится выносить это на улицу и там сжигать. Если не сжигать объедки, до них добираются собаки и крысы.

– Спасибо.

Я вспоминаю свои хорошие манеры и провожаю пани Войцик до лестницы, а потом запираю дверь, чтобы в квар-

тиру больше не смогли войти непрошенные гости.

Мне надо перенастроить себя, заставить мозг перестать опять ходить по кругу. Стены квартиры гудят воспоминаниями о бродягах, которые приходили сюда и жгли мебель моей семьи вместо дров, потому что было холодно, потому что им больше негде было жить, потому что они были бродягами. Поэтому-то они и жгли мебель и поэтому-то стены и гудят.

«Нет. Перестань».

Я возвращаюсь к своей комнате и останавливаюсь в дверях. Я что-то делала, когда пришла пани Войцик. Что же я делала? Пани Войцик подошла к двери, а я в это время... *сундук в углу стенного шкафа.*

Это сундук для приданого. Полированный клен, на крышке вырезан цветок. Может быть, это сундук тети Майи? У меня осталось какое-то смутное воспоминание о чем-то похожем – тот сундук стоял у нее под кроватью, и он был полон полотенец, скатертей, постельного белья и носовых платков, на которых были вышиты ее инициалы, а рядом оставлено место для инициалов будущего мужа. Замок сундука заржавел, и мне не сразу удастся его открыть. Но в конце концов я откидываю крышку, и у меня перехватывает дыхание.

Внутри сундука лежит то, что осталось от моей жизни.

Когда мою семью выгнали из этой квартиры в гетто, нам разрешили взять лишь то, что мы могли унести. Мы смогли взять только практичную одежду и только самую необходи-

мую посуду. И фотографии. Фотографии были так ценны, что мы забрали их, вынув из рамок, так что я знаю – в этом сундуке их нет.

Но остальное лежит здесь. Слои одежды, переложённые папиросной бумагой, то, что мы не могли унести, но не хотели отдавать в чужие руки. Мамино свадебное платье. Платье, которое я надевала на мой тринадцатый день рождения. Все это сохранила «приятная немецкая пара», они наверняка были нацистами. Значит, вот что считается добротой, если ты нацист?

На швейной фабрике «Хромицкий и Ледерман» своими вышивками славилась баба Роза, но иголкой и ниткой неплохо владела и я. Через несколько лет я могла бы и превзойти ее. Большая часть работы выполнялась на швейных машинках, но вышивки мы делали руками. Баба Роза говорила, что благодаря им у наших покупателей появляется такое чувство, будто приобретаемая ими одежда не куплена, а сшита на заказ, такое чувство, будто о них заботятся особо. *Хромицкий и Ледерман*, аккуратным курсивом вышивали мы.

А когда я шила одежду для моей собственной семьи, мне иногда случалось вышивать на ней что-то особенное, что-то незаметное, спрятанное под этикеткой или внутри шва. Имя Майя, вышитое темно-синей ниткой и строчку из любовного романа, который она не должна была давать мне читать. Дата свадьбы бабушки и дедушки, вышитая на скатерти, которую мы подарили им на юбилей.

Достав из сундука старую школьную форму, я провожу пальцем по ее подолу – на его подгибе я тайно вышила имена всех моих подруг. А на подкладке старого зимнего пальто моей матери вышито несколько строчек из стихотворения о весне. Никто не смог бы их увидеть – я вышила их не для того, чтобы их можно было прочесть.

Когда мы только перебрались в гетто, Абек потерялся. Он заблудился, и его не было несколько часов, потому что нашего нового адреса он не знал. Мама, конечно же, любила его – она любила нас обоих. Но после рождения Абека она долго болела, не выходя из своей комнаты. *«Она слишком слаба, – так говорили папа и дедушка с бабушкой. – Ей пришлось нелегко»*. Когда он был мал, я заботилась о нем. А в тот день, когда он потерялся и его привел домой добрый прохожий, бродивший по улицам вместе с ним, пока Абек наконец не узнал наш дом, первым делом он, плача, подбежал именно ко мне. И именно я пообещала, что больше никому не придется с трудом возвращать его домой.

Для этого я вышила имя и фамилию брата под этикетками всех его рубашек, а еще адреса – адрес нашего настоящего дома и того, в котором мы стали жить, когда нас выгнали в гетто, и сверх того имена наших родителей и мое собственное имя.

А затем я принялась вышивать опять. Я вышивала целые истории, мелкими-мелкими буквами на кусочках тончайшей кисеи, а затем складывала их по двенадцать раз и вши-

вала под этикетки.

Одна такая история была вшита в его курточку в тот день, когда мы все явились на футбольный стадион. Это был мой подарок ему на его день рождения, самая лучшая моя вышивка. История нашей семьи, рассказанная с помощью букв алфавита.

А – это Абек.

В – это баба Роза.

С – это Chromicki amp; Lederman¹, название нашей швейной фабрики и D – это Декерта, название улицы, на которой находится наша синагога, хотя мы ходим туда только по большим праздникам.

H – это Хелена, имя нашей мамы; M – это тетя Майя; Z – это Зофья.

Как-то так. Всего я уже не помню. По алфавиту от А до Z – после одних букв были вышиты целые абзацы, а после других всего несколько слов. В последние минуты перед тем, как мы все отправились на стадион, будто бы для того, чтобы сфотографироваться для новых удостоверений личности, я сняла историю нашей семьи со стены, на которой она висела, и зашила в его курточку, после чего заставила Абека надеть ее.

Как будто знала, что нас ждет.

Эта мысль приходила мне в голову потом. И тогда, когда я голодала в Биркенау, и тогда, когда на фабрике в Нойштадте

¹ Хромицкий и Ледерман (польск.).

работала на ткацком станке (*«Эта девка умеет ткать»*, – сказала охранница, вытащив меня из когтей смерти и отправив на работу), – и тогда, когда зимний холод замораживал пальцы моих ног, пока мы шли 140 километров до Гросс-Розена, куда эсэсовцы погнали нас с ткацкой фабрики, и перед тем, как я лишилась чувств в женском бараке, когда лагерь освободила Красная армия и нацисты сбежали. Должно быть, я знала, что нам приказали явиться на футбольный стадион вовсе не затем, чтобы изготовить для нас новые удостоверения личности. Иначе зачем мне было заставлять Абека надеть ту куртку? Ведь на улице было слишком тепло, чтобы надевать куртки или пальто. И к тому же эта куртка уже была ему тесновата. Кто вообще зашивает историю семьи в куртку?

Либо тогда я уже знала, что с нами случится беда, либо к тому времени сошла с ума.

Мне надо разыскать моего брата.

Мне надо разыскать моего брата, потому что война закончена, но я все еще не чувствую себя в безопасности. И думаю, он тоже.

«Я не думала, что кто-то из вас вернется». – так сказала пани Войцик. Но она произнесла это не с благодарностью Богу, не так, словно хотела сказать: *«Я так рада видеть тебя»*. В ее голосе прозвучала не радость, а разочарование. Как будто на самом деле она имела в виду другое: *«Я надеялась, что они прикончили вас всех»*.

С

Когда несколько минут спустя в дверь стучит Дима, на лице его написано торжество. Открыв дверь на цепочку, я вижу в его руках сверток.

– Обед, – говорит он. – Колбаски.

Я открываю дверь, но, когда он входит, я теряюсь.

– Мне нечем топить плиту.

– Они уже готовы!

Теперь я вижу, что сквозь оберточную бумагу просачивается жир, и у меня текут слюнки.

– И мне не на что их положить, – извиняюсь я. Я хотела сказать, что здесь нет стола, но, когда я произношу эти слова, до меня доходит, что тут нет и посуды.

Дима достает еще один сверток.

– Миски. Пикник. – И еще один. – Картошка.

Опустошив свои карманы, он оглядывает просторную гостиную с любопытным, но вежливым видом.

– Это и есть твой дом?

– Когда я тут жила, квартира выглядела по-другому. Вся наша мебель пропала.

– Сегодня мы посидим на полу, а завтра я достану тебе кое-какую мебель.

Он поднимает брови, глядя на застекленные двери столовой, и я киваю – да, мы пообедаем вон там. Войдя в столо-

вую, он уверенно опускается на колени, разворачивает свертки и начинает резать колбаски складным ножом.

– Мой командир сказал, что придет на ужин, хорошо? – говорит Дима после того, как я тоже встаю на колени и беру у него алюминиевую миску. – Он хочет познакомиться, больше узнать о городе.

– Хорошо.

– Я сказал ему, что он может прийти сегодня вечером.

– Сегодня вечером? Но ведь в доме нет еды. Я только что вернулась.

– Я понимаю, что вечер уже скоро. – Дима смотрит на меня круглыми глазами, и я прикусываю язык. Это мой дом, но я напоминаю себе, что не смогла бы добраться сюда так быстро, если бы не Дима.

Девушки-ничегошницы были правы только наполовину. Они думали, что мне повезло – что Дима спас меня, а затем привязался ко мне. Но на самом деле Дима привязался ко мне именно потому, что спас меня. Потому что я была беспомощной, и он смог мне помочь. Потому что ему было одиноко, а мне он был нужен. Все это время он был мне просто другом и ничего не просил за свою доброту. А я ничего ему не предлагала.

Но долго так оставаться не может. Раньше или позже моя слабость перестанет казаться трогательной и моей благодарности станет недостаточно. Ему захочется иметь настоящую подружку.

– Твой брат... – Дима замолкает, опускает взгляд на свою тарелку и, не поднимая глаз, заканчивает вопрос: – Его тут нет?

Три картошины на влажной газете. На всякий случай Дима купил не две, а три.

Я подавляю в себе разочарование.

– Нет, его тут нет.

– А он тут был?

– Думаю, нет.

Он протягивает руку и гладит меня по щеке.

– Мы найдем его, обязательно найдем.

– Да, – говорю я, поставив алюминиевую тарелку на голый паркетный пол. И улыбаюсь. *Я стараюсь. Стараюсь изо всех сил.*

Я вернулась туда, где жила моя семья, но ем я сейчас не с фарфора, а из алюминиевой посуды, и вместо моих родных со мной рядом находится русский офицер. И ему хочется, чтобы я поговорила с ним о праздничном ужине. А восемь месяцев назад я ударила по лицу одну девушку, потому что она попыталась стащить мои дырявые башмаки.

– Зофья? – Дима произносит мое имя добрым голосом, но не совсем правильно – у него слишком твердое «З». – Зофья, ты не говоришь. Я тебя расстроил.

– Думаю, нам к обеду нужен хлеб. – И я быстро встаю на ноги.

Он огорчен.

– Хлеб нам не нужен, – говорит Дима, кивком показывая на картошину Абека, которую он разрезал пополам и положил по половинке на свою и мою тарелки.

– Но это же праздник, – выдумываю я. – Мой первый день после возвращения домой.

– Я пойду с тобой. – Он откладывает нож и неуклюже встает.

– Нет! Не надо. Я схожу в булочную здесь, за углом, и вернусь через несколько минут.

Но он все равно обеспокоен – он считает, что мне не стоит бродить в одиночку.

– Я могу посмотреть, не найдется ли в булочной сладкого пирога для твоего командира, – продолжаю импровизировать я и машу рукой, делая ему знак опять сесть на пол. – И мне это будет полезно, поможет поправить здоровье. Если я буду делать что-то самостоятельно в знакомых местах. Так мне сказала медсестра.

Медсестры ничего такого не говорили, но именно это и убеждает его – упоминание о сладком пироге и о поправке моего здоровья. Он дает мне денег и легко целует в лоб.

Снаружи меня обдаёт послеполуденная жара. Выйдя из дома, я теряюсь, не знаю, куда идти. Осталась ли еще та булочная за углом? В первые месяцы оккупации, когда я была ребенком и мы еще жили в этом квартале, на всех окрестных магазинах за одну ночь появились таблички: JUDEN

VERBOTEN².

«Магазин Сколмоских», – вспоминаю я. Сколмоские были католиками, но, хотя их тоже вынудили поместить в своей витрине табличку со словами «Евреям вход воспрещен», как и всех остальных, я знаю, что пану Сколмоскому было от этого не по себе. До того, как нас выселили в гетто, он несколько раз заходил к нам, принося остатки продуктов. Во всяком случае, так он утверждал. *Остатки*. Но когда нам в последний раз доставались хотя бы остатки чего-то нужного? Пойду-ка я в булочную Сколмоских.

Улица стала более многолюдной, чем была пару часов назад. Сейчас около полудня, обеденное время, и люди спешат на работу и с работы. В двух кварталах от моего дома одна из витрин булочной Сколмоских заколочена фанерой, но поверх листа фанеры кто-то написал: «*Все еще открыто*». Причем не по-немецки, а по-польски – и, по-моему, это добрый знак.

Я толкаю дверь, и звенит колокольчик. За прилавком стоит не пан Сколмоский, а мужчина помоложе, которого я не знаю. Я в нерешительности останавливаюсь в дверях.

– Я могу вам помочь? – спрашивает продавец.

– Мне нужен только хлеб, – бормочу я и, медленно подходя к полкам, стоящим у стены, протягиваю руку к ближайшей буханке, темной и сдобренной семенами тмина, чтобы больше не пришлось ничего говорить. Но выбор скуден, хле-

² Евреям вход воспрещен (нем.).

ба мало, и, одновременно со мной до буханки дотрагивается немолодой мужчина, один из двух покупателей, которые сейчас находятся в булочной.

– Простите, – говорю я. – Возьмите, ведь вы пришли сюда первым.

Он отдергивает руку и делает мне знак взять хлеб в то самое время, когда я предлагаю взять буханку ему самому. И я не знаю, в чем тут дело – в любезности, или же он не хочет брать этот хлеб, поскольку до него дотронулась я. Представляю, на что я сейчас похожа – поношенное, вытертое платье, неровная походка, нездоровая худоба.

Я чувствую, как у меня вспыхивает лицо. Может быть, мне лучше просто уйти, найти другую булочную или же сказать Диме, что все они были закрыты.

– Зофья?

Кто-то кладет ладонь на мое предплечье, и я испуганно вскрикиваю.

– Не пугайся, – говорит успокаивающий голос, и я оборачиваюсь. Женщина, стоящая передо мной, на несколько лет старше меня. Она стала бледнее, чем была когда-то, и у нее покраснел один глаз. Но голос у нее прежний, глубокий, грудной, я всегда им восхищалась, а на щеках проступают следы ямочек, хотя теперь на ее лице слишком мало жира, чтобы они были видны по-настоящему.

– Гося?

Прежде чем я успеваю что-то добавить, лучшая подруга

тети Майи роняет сумку на пол и обнимает меня.

Я обнимаю ее в ответ и смеюсь, смеюсь не только от радости, но и от облегчения.

– Поверить не могу, что это ты, – говорит Гося, а я глажу ее по волосам и тоже с трудом верю собственным глазам.

– Я тоже никак не могу поверить, что это и правда ты!

Продавец, стоящий за прилавком, вдруг проявляет интерес.

– Вы мешаете работе магазина, – говорит он.

– Мы же единственные покупательницы, – протестует Гося. Она права – магазин опустел. Видимо, немолодой мужчина незаметно ушел.

– Здесь у нас коммерческое предприятие, а не место для проведения вечеринок.

Гося вздыхает.

– Мы уйдем.

– Я еще не купила хлеба, – возражаю я, но Гося качает головой и сжимает мое предплечье. Выйдя из булочной, она достает из сетки свой собственный батон, разламывает его пополам и протягивает мне половину.

– Расскажи мне все с самого начала, – говорит она. – Почему я не видела тебя раньше? Ты что, только что вернулась?

– Да, сегодня утром.

– Где ты была?

– Сначала в Биркенау, а в конце меня перевели в Гросс-Розен. – Когда я произношу эти названия, она вздрагивает –

ей известно, что они значат. – А где была *ты*?

Гося краснеет и опускает глаза на свои туфли.

– Мне выдали разрешение остаться, потому что я работала в больнице и была признана незаменимым сотрудником. А потом, когда немцы перестали выдавать такие разрешения, один из врачей разрешил мне спрятаться в подвале своего дома. Там я и оставалась до последних месяцев войны. А потом попала в концлагерь Флоссенбюрг. Но я пробыла там только несколько месяцев. – Она смущенно кривит рот, как будто стесняется того, что ей так повезло.

– В лагере и несколько месяцев – это слишком долго. Я за тебя рада, – успокаиваю ее я. – Рада, что ты оставалась в безопасности, пока это было возможно.

– Сейчас я живу с моей сестрой и ее мужем. Место, где они скрывались, так и не нашли. – Она в нерешительности замолкает, подыскивая слова. – А Майя...

– Нет.

Это исчерпывающий ответ. «*Нет, Майи нет*». Но я заставляю себя продолжить, потому что Гося мой друг и имеет право знать все:

– Почти сразу после того, как нас увезли со стадиона. Их убили всех, кроме Абека.

– О нет. – Она закрывает глаза, и я жду, пока она скорбит. Открыв их опять, она понижает голос. – Почти никого из наших не осталось, – тихо говорит она. – Самое большее несколько сотен. Не понимаю, как могло погибнуть столько

людей.

– Я пытаюсь найти Абека. Нас разлучили в Биркенау. Насколько я понимаю, здесь ты его не видела?

– Как бы мне хотелось, чтобы это было не так. Ты была в вашей квартире?

– Да, я только что с Марьяцкой. Квартира разграблена, но сейчас там никто не живет. Я попытаюсь поискать его в Шродуле. Может быть, он забыл, где мы договорились встретиться. Может быть, он считает своим домом гетто.

Гося качает головой.

– Гетто больше нет, – говорит она. – Оно полностью разрушено. Так что пойти туда он не мог.

– Ты в этом уверена?

– Да, я сама ходила туда, когда вернулась сюда в июне. Ты бы видела ту часть города, Зофья, – там почти не осталось зданий.

У меня падает сердце. В доме нашей семьи Абека нет. И он не мог пойти в нашу комнату в гетто. Гося находится в Сосновце с июня, а мою семью она знает с самого детства; у нас с ней были одни и те же друзья. Если бы Абек вернулся, Гося наверняка об этом узнала бы, особенно теперь, когда нас осталось так мало – она сама сказала, что из наших выжило только несколько сотен.

– Кто еще был с вами в поезде, который вез вас в Биркенау – там был кто-то из тех, кого мы знаем?

– В тот день? – медленно говорю я.

– Да, когда вас везли на поезде. Кто был там с вами?

Я сразу поняла, что она имеет в виду, и просто тянула время. Ведь чтобы ответить на ее вопрос, мне придется снова подумать о том дне, а я стараюсь не думать о нем никогда.

– В поезде со мной была только... – Но я не могу продолжать, потому что снова погружаюсь в ужасы того дня: в моих ушах звучат истошные крики, мои ноздри наполняет смрад разложения, меня мучает жажда, я ужасно слаба и едва могу дышать. – Там была...

– Зофья? Что с тобой?

Я опускаю глаза и вижу, что хлеб в моей руке трясется. Трясутся мои руки. *«Мы сейчас не в вагоне для скота. Мы на улице. Мы не в лагере. Мы в Сосновце. Это не тот день. Это не тот день».*

Железнодорожная станция в Биркенау – это спящее чудовище, которое сторожит дверь в мою память. Если ткнуть его слишком сильно, оно проснется. Если оно проснется, то пожрет меня. Я медленно обхожу вокруг краев этого воспоминания. Даже его края – это ад.

– Там была пани Руфь, – договариваю я. – Старушка с длинными седыми волосами. Она ехала с нами. Она...

– А там были знакомые мужчины? – перебивает меня Гося, и теперь до меня доходит, почему она спрашивает, что имеет в виду: есть ли у нас друзья, сохранившиеся в мужской половине Биркенау и, возможно, видевшие Абека после того, как меня разлучили с ним?

Аптекарь. Аптекарь молился на стадионе и... *Нет.* Аптекарь погиб на том футбольном стадионе, напоминая себе я. Еще до того, как нас загнали в поезд. Мне надо подумать о том, что происходило после того, как мы сошли с поезда, что происходило на платформе в тот последний день, в тот день, когда... *Нет, нет, нет.*

– Пан Цвайг, – выдавливаю я из себя. – Пан Цвайг, библиотекарь. Он был с нами. И тот тщедушный паренек из мясной лавки. Кажется, его звали Соломон.

Гося сжимает мою руку.

– Соломон Прагер?

– Да, Соломон Прагер. – Вспомнив его имя, я с трудом выцарапываюсь из того воспоминания.

– Он вернулся. Он жив. Мой зять видел его на прошлой неделе.

– В мясной лавке?

– Мясная лавка закрыта: теперь он работает батраком. Когда сегодня днем закончится моя смена, я разыщу его и спрошу, знает ли он что-то об Абеке.

– А можно мы найдем его сейчас? Давай пойдем прямо в эту минуту. – Я совсем позабыла про хлеб, про обед, про Диму, но Гося, словно извиняясь, качает головой.

– У меня есть только час на обед, и я не знаю, у кого работает Соломон, – это знает мой зять. Обещаю, что после работы я его найду.

– Тогда приходи ко мне на ужин, – неохотно предлагаю

я. – Там буду я и... и еще один русский офицер. Дима помог мне. Теперь его перевели сюда.

Объясняясь, я чувствую, что краснею, но Гося и бровью не ведет. Должно быть, она слышала обо всяких отношениях.

– О, Зофья, как же здорово увидеть тебя снова. – Гося кладет ладони на мои щеки, а я на ее, и мы касаемся друг друга лбами. – Я приду к тебе сегодня вечером. Обещаю.

Она перечисляет несколько названий ближайших продуктовых магазинов, которые открыты и в которых к нам относятся хорошо, и говорит, что я могла бы купить там провизию, чтобы приготовить ужин. Дойдя до моего дома, я снова поднимаюсь по лестнице, готовясь извиниться перед Димой за то, что так долго ходила за хлебом.

Добравшись до площадки четвертого этажа, я вижу его. В цветочном горшке пани Войчик, в котором прежде – я в этом уверена – ничего не было, торчит флажок вроде тех, которыми детишки размахивают на парадах, и на этом флажке изображена свастика.

С

Вечером Гося приходит с подарками. Одеяло. Две пары женского белья. Пачка стирального порошка и кусок мыла, белого и пахнущего антисептиком, не похожего на те мягкие коричневые бруски, которые мы раньше покупали в магазине.

– Сейчас система снабжения по карточкам работает лучше, – объясняет она. – Но на этой неделе везде не хватает мыла. Это я взяла в больнице.

– Спасибо. – Я благодарна ей за то, что она принесла, но по чрезмерному энтузиазму, с которым подруга сует узелок мне в руки, сразу понимаю, что это приношение призвано возместить мне дурную весть.

– Соломон не смог помочь.

Она потупляет глаза.

– Он не видел его. И вообще не помнит, чтобы видел его в лагере.

– Понятно.

Она пытается взять меня за руку, но поскольку я все еще держу узелок с подарками, она сжимает мои запястья. – Соломон хотел, чтобы я передала тебе, что он просит прощения. Он сказал, что приглядел бы за Абеком, – он хотел, чтобы ты это знала. Если бы он знал, что Абек тоже там, он бы попытался приглядеть за ним.

В словах Госи слышится чувство вины, которое передалось ей от Соломона. Но я его не виню. Ведь лагерь был велик – размером с небольшой город. То, что Соломон не может вспомнить Абека, еще ни о чем не говорит.

Это значит одно – мне нужно искать его более усердно. Нужно писать больше писем. Завтра я смогу поговорить с Соломоном сама.

Из столовой выходит Дима с широкой улыбкой на лице и в знак приветствия целует Госю в обе щеки – теперь я уже знаю, что таков русский обычай, и это считается просто выражением дружелюбия, а вовсе не панибратством. Она удивленно вздрагивает, но к тому времени, когда Дима заканчивает свое приветствие, успевает придать своему лицу спокойное выражение.

– Ты подруга Зофьи? Очень рад с тобой познакомиться.

– Гося, это Дима Соколов, о котором я тебе говорила. Он также пригласил на ужин своего командира. Так что, если ты не возражаешь, у нас получится небольшая вечеринка.

– Я пойду встречу его, – говорит Дима, обращаясь к Гося. – Зофья, у тебя есть все необходимое, чтобы приготовить ужин?

Я киваю, и, когда он уходит, Гося вскидывает брови.

– А он красивый.

– Он добр ко мне. – Я делаю ей знак пройти со мной на кухню, но она не двигается, а продолжает стоять, словно что-то скрывает. – Гося? – говорю я. – Есть что-то еще?

Она смотрит на дверь, которую только что закрыл за собой Дима.

– Да, Соломон сказал мне еще кое-что – не знаю, важно это или нет. По его словам, Красная армия освободила Биркенау в январе.

– Это я знаю, – отвечаю я. – Мне об этом говорил Дима.

– Послушай. Соломон рассказал, что незадолго до освобождения немцы начали вывозить узников в другие лагеря. Эсэсовцы знали, что скоро придут союзники, и старались эвакуировать лагерь, перевезти заключенных в Германию. Соломона среди них не было – его оставили в лазарете, и через несколько недель лагерь был освобожден.

Эвакуировать. В Нойштадте было то же самое. Всех подняли с нар, мы оставили ткацкую фабрику, и нас несколько дней гнали по морозу в Гросс-Розен, лагерь на границе Германии. Но долго мы там не задержались – через несколько месяцев Красная армия освободила и этот лагерь. Правда, если бы он находился в глубине рейха... до центральной части Германии союзники дошли только в апреле или в начале мая.

Теперь я понимаю, почему Гося начала не с этого. Эти сведения можно истолковать двояко: как плохо, так и хорошо. Либо Абек находился в Биркенау, когда лагерь был освобожден, и тогда он должен однажды вернуться домой, либо...

– Абека увезли в Германию, – говорю я.

– Нет – то есть я не знаю.

– Но ведь в лазарете Соломон его не видел, да?

– Нет, не видел, но...

– Гося, где еще он мог находиться, когда Биркенау был освобожден? – спрашиваю я. – Либо он остался в лазарете вместе с Соломоном, либо его увезли на поезде в другой лагерь, находящийся в Германии. Что еще остается?

На лице Гози написана неловкость.

– Возможно...

– Возможно что? – резко спрашиваю я.

– Зофья, я любила Абека, ты сама это знаешь. Но он был еще так мал. Он был ребенком, а работа оказалась такой тяжелой, и столько людей...

– Поэтому это счастье, что он был крепок, – перебиваю ее я. – К тому же я смогла для него кое-что устроить. Он был *ценным работником*. Я сделала так, что он стал *полезен*.

Она видит мое лицо. Она видит мое лицо и свои следующие слова выбирает осторожно.

– Если Соломон не ошибся, когда лагерь эвакуировали, он скорее всего мог остаться в лазарете либо оказаться в поезде.

– Мы уже знаем, что в лазарете его не было, – говорю я. – Значит, его увезли на поезде.

– Значит, его увезли на поезде, – медленно повторяет Гося. – Конечно же, так оно и было.

Командир Димы – его фамилия Кузнецов – высок, худ, у него впалые щеки и приветливые умные глаза. Он не владеет польским, но сносно знает немецкий, на котором мы с Госей говорим свободно, но который Дима не понимает совсем. Гося также более или менее знает русский, и во время подобия вечеринки мы четверо умудряемся кое-как объясняться, то и дело переходя с одного языка на другой.

Капитан Кузнецов прежде никогда не бывал в Польше – он говорит об этом, пока мы сидим на полу, поставив миски себе на колени. Кузнецов расстелил между нами скатерть и принес цветы, которые поставил на подоконник. А еще он раздобыл бутылку водки. В остальном квартира выглядит все такой же, разграбленной и брошенной – командир Димы говорит, что поэтому он и напросился в гости. Ему хотелось узнать, как живет население в наших местах, как мы выживаем.

Я испекла холишкес³, залив их сверху консервированными помидорами и использовав единственный имевшийся в мясной лавке фарш, сделанный из жесткой посеревшей баранины. При этом я старалась получать удовольствие от стряпни с использованием армейских котелков, которые принес

³ Голубцы.

Дима. Я старалась получать удовольствие от того, что снова нахожусь на нашей семейной кухне.

– Зофья? – мягко говорит Дима. – Мой командир задал тебе вопрос.

– Да, это традиционное блюдо, – отвечаю я, заставляя себя снова влиться в беседу.

«Если Абека отправили в Германию, будет ли он знать, как вернуться назад? И в какой части Германии он оказался – ведь это большая страна. Выдали ли ему такую же бумагу, как мне, чтобы он мог сесть на поезд?»

– Мы иногда едим его, когда отмечаем наш праздник урожая, – добавляет Гося, поскольку я молчу. – А еще у нас бывает яблочный пирог и картофельный кугель.⁴

«Мы едим его сейчас, потому что это любимое блюдо Абека», – добавляю я про себя. Мы едим его на дни рождения, и, покупая ингредиенты, я смутно надеялась, что приготовлю холишкес для него. И что Соломон знает, где он сейчас, и Гося приведет его домой.

– Вы давно знаете семью Зофьи? – спрашивает капитан Кузнецов, обращаясь к Гесе, которая сегодня куда разговорчивее, чем я. – И кем вы работаете сейчас?

– Я медсестра в здешней больнице. И да, мы с тетушкой Зофьи вместе учились в начальной школе. Зофью я знаю с самого рождения, то есть... – Она толкает меня в плечо, пытаясь вовлечь в разговор.

⁴ Традиционное еврейское блюдо, похожее на запеканку.

Не так я хотела провести мой первый вечер дома. Совсем не так.

– Уже восемнадцать лет, верно, Зофья?

Дима смотрит на меня с беспокойством. Он тоже рассчитывал, что этот вечер пройдет не так.

– Прошу прощения, господин офицер, – тихо произношу я. – Просто я очень устала. Возможно, Дима говорил вам, что я разыскиваю младшего брата. Я надеялась, что он будет ждать меня здесь, но его здесь не оказалось.

Капитан кивает мне, но обращается он к Диме, быстро говоря что-то по-русски. Я вижу, что Гося пытается уразуметь, о чем они толкуют, и по отдельным словам в общих чертах понимаю, о чем речь. Командир спросил Диму, был ли мой брат в лагере, как и я, и Дима ответил, что да. Дальше я уже ничего не могу разобрать, пока Гося не переводит.

– Он говорит, что есть организации, оказывающие помощь.

– Я знаю. Я говорила с их сотрудниками и писала письма.

Мужчины продолжают обсуждение, и, когда Гося вклинивается в их разговор во второй раз, в ее голосе звучат напряженные нотки. – Он говорит, что Абек мог оказаться в окрестностях Мюнхена.

Дима и Кузнецов замолкают и смотрят на нее. Командир со смущенным видом говорит мне, перейдя на немецкий: – Прости, что мы оставили тебя за бортом нашего разговора.

– Почему вы считаете, что он мог попасть под Мюнхен? –

спрашиваю я.

– Насколько нам известно, в конце войны из Биркенау узников в основном вывозили в два лагеря: Берген-Бельзен и Дахау, – объясняет Кузнецов. – А ближайший большой город к Дахау – это Мюнхен.

– Но почему Дахау, а не Берген-Бельзен? Или же этот лагерь также находится недалеко от Мюнхена?

Капитан явно растерян, но обращается он не ко мне, а к Диме, говоря что-то по-русски. Дима отвечает тихо, почти шепотом, и время от времени поглядывает на меня. В его жестах чувствуется нечто такое, что настораживает меня – как будто он хочет от чего-то защитить меня и что-то скрывает.

– Что ты ему говоришь? – спрашиваю я, повысив голос. – Гося, что они говорят?

Гося поджимает губы, похоже, ей не хочется переводить. – Капитан сказал... он сказал... что, по его сведениям, Абека отправили не в Берген-Бельзен.

Я недоуменно мотаю головой. – Почему он так считает?

Они трое опять переглядываются и ничего не говорят. Я беру мою кружку и стучу ею по полу, чтобы привлечь их внимание. – Кто ему это сказал?

Проходит целая вечность, Дима нехотя поворачивается ко мне. – Это сказал я. Я сказал ему, что в Берген-Бельзене Абека не было. Потому что, когда я написал в этот лагерь, его имени не оказалось в их списках.

– Когда ты написал в... – медленно повторяю я, пытаюсь

уразуметь смысл того, что он говорит. – Когда ты *написал в лагерь?*

– Мне ответили тамошние военные, – пытается объяснить он.

– Значит, ты знал, что он мог быть там, и уже писал им? Ничего не сказав мне?

Дима густо краснеет. – Его там не оказалось. Поэтому я и не хотел... не хотел *волновать* тебя, Зофья. Я стараюсь помочь. Тебе надо *отдыхать*. Я думал, что, если сумею разыскать его для тебя...

Гося и командир Димы Кузнецов уставились в свои миски, не участвуя в разговоре. Дима умоляюще смотрит на меня.

– А из Дахау тебе ответили тоже? – спрашиваю я. – И из Биркенау? Черт возьми, Дима, что ты от меня скрываешь?

– Не ругайся, Зофья. Ты не из тех девушек, которые ругаются.

– Хочу и ругаюсь. – Мои глаза наполняются слезами.

Он качает головой.

– *Нет*, – говорит он, – нет, из этих лагерей ответы не пришли.

Не предательство ли это? Не предательство, раз он пытался мне помочь? Пусть он сделал это втайне от меня, но ведь он старался отыскать моего брата, не так ли? *Он хотел как лучше*, говорю я себе. Он пытался помочь. И на самом деле помог. Ведь он узнал, где Абека *нет*.

Сидящая рядом Гося кладет свою ладонь на мою. – Ко-

мандир упомянул Мюнхен, потому что после войны многие узники Дахау оказались в другом лагере неподалеку от Мюнхена. – Она обменивается несколькими словами с Кузнецовым и уточняет. – Это не такой лагерь, как те.

Теперь она говорит не по-русски, не по-немецки и даже не по-польски, а на идише. Это язык наших кухонь, наших частных семейных дел, означающий, что Дима и его начальник не являются частью того, что происходило с нами. – Это большой лагерь для перемещенных лиц, которым руководит Организация Объединенных Наций. Таких несколько. Они предназначены для тех бывших узников, которые не могут вернуться в свои дома или не смогли отыскать членов своих семей.

– И там может находиться Абек, если он был вывезен из Биркенау.

Она убирает руку.

– Да, так он и сказал. Этот лагерь называется... – Она опять переходит на немецкий. – Как называется этот лагерь?

– Фёренвальд, – отвечает Кузнецов, явно испытывая облегчение от того, что может сообщить мне что-то такое, что не расстроит меня. – Но, находясь здесь, невозможно узнать, содержится ли в этом лагере твой брат, Зофья. Персонал там немногочисленный, и у них слишком много работы. Мы слышали, что там несколько тысяч перемещенных лиц, одни поступают, другие уезжают.

– Это невозможно узнать, находясь *здесь*, – повторяю я.

Я опять перешла на польский, но сидящий справа от меня Дима качает головой, едва я успеваю произнести несколько слов.

– Абек приедет сюда, – говорит он. – Ведь таков был ваш план.

План заключался в возвращении в Сосновец. План заключался в том, чтобы воссоединиться, в том, что я его найду.

Но что, если он забыл наш план? Ведь ему было всего девять лет. Что, если он забыл наш адрес? Что, если он в затруднении или ранен или находится в госпитале, как было и со мной?

– Ты знал про этот лагерь? – резко спрашиваю я, обращаясь к Диме. – Ты скрывал от меня и это?

– Нет, честное слово. Об этом лагере я не знал. Завтра мы сможем написать туда.

– Да, мы можем написать, – повторяю я, – но что, если тем временем он уедет?

– Если он уедет, то поедет сюда, – просто говорит Дима.

– Но что, если он не сможет *добраться сюда*? Или письмо не дойдет до него?

– Зофья, ты должна быть терпеливой и...

– Что, если я нужна ему? Что, если он сейчас один и я нужна ему *прямо сейчас*? Тетя Майя только что сказала...

– Кто? – перебивает меня Дима. Тон у него вежливый.

– Тетя Майя. Только что.

– Зофья.

– *Тетя Майя.* Мой голос становится громче с каждым словом, пока я почти не срываюсь на крик. – Тетя Майя *только что* сказала, что из Биркенау узников перевезли в Германию. Разве вы ее не слышали?

В комнате воцаряется неловкое молчание, и я понимаю свою ошибку. И краснею.

– Я хочу сказать Гося. Разумеется, я знаю, что это Гося, а не тетя Майя.

Я быстро опускаю голову, уставляюсь на миску и отщипываю кусочек капустного листа. Но не могу положить его в рот. Я и правда хотела сказать то, что сказала. Я была в этой столовой, и рядом со мной сидела моя красивая тетя Майя, и я опять забылась, потеряла себя.

Гося смотрит на меня с жалостью и беспокойством, потом на мгновение переводит взгляд на Диму. Я уже видела, как они разговаривали, пока я заканчивала готовить ужин. Интересно, что он ей рассказал, какой они поставили мне диагноз.

Они думают, что я сошла с ума, так что мне нет смысла объяснять, что я запуталась только на минуту, поскольку оказалась в нашей квартире.

Бессмысленно также объяснять уверенность, которая вдруг начала крепнуть в моем сердце, когда капитан Кузнецов упомянул это место, Фёренвальд. Я знаю, что оберегала Абека, как могла. В лагере я все время чувствовала, что он жив. Без этого чувства я бы не смогла выжить. Но я выжила,

а значит, он должен быть в Фёренвальде.

– Я знаю, что ты Гося, – понизив голос, говорю я. – Ладно, неважно.

* * *

Гося уходит через пару часов, когда за ней заходит ее зять. На прощание она обнимает меня и говорит, чтобы завтра я пришла в больницу – им очень нужны волонтеры. Дима молча кивает ей. Должно быть, они что-то задумали, это предлог, чтобы занять меня делом. – Завтра вечером я в любом случае загляну к тебе, – обещает она. – И постараюсь принести тебе еще одежду и второй фонарь.

Сейчас в квартире есть только один фонарь и еще огарки свечей. Все погружено в сумрак; Дима и капитан Кузнецов, разговаривающие стоя у двери, кажутся всего лишь парой неясных теней.

Дима подходит ко мне и берет меня за обе руки.

– Мой командир говорит, что ты можешь пойти с нами, у нас найдется для тебя место. Так тебе не придется оставаться одной.

– Со мной все будет хорошо. Гося принесла мне кое-какие вещи.

– Пол такой жесткий, – не унимается он. – Тебе будет неудобно. Тебе нужно... – Он не знает, как это по-польски и показывает жестами, делая вид, что раскатывает что-то на

полу.

– Нужна скатка? Нет, я обойдусь. – В голову мне ударил алкоголь, и она кружится. Я все еще немного сержусь на Диму. Я столько раз спала в куда худших местах, чем деревянный пол, на котором расстелено чистое одеяло.

– Я могу принести тебе скатку. – Он смотрит в прихожую, где его командир поправляет фуражку, из вежливости оставив нас наедине. – Сейчас я провожу Кузнецова и вернусь.

– Не можешь же ты все время ходить туда-сюда. Ты и так уже приходил сегодня дважды.

Но он настаивает, и в конце концов я решаю, что проще согласиться. Позволить ему принести мне скатку и покурахтаться надо мной, как кудахчет курица над яйцом.

Д

Я собираю миски, но водопровод не работает, так что вымыть их я не могу. Мы с Госей съели все дочиста, а на мисках Димы и капитана Кузнецова остались объедки: корка хлеба, несколько капустных листьев. В миске капитана лежит кусочек мяса, в основном это хрящ, который он, по-видимому, незаметно выплюнул.

Хрящ бесформенный, изжеванный и плавает в томатном соусе. Я смотрю на него с отвращением.

Но потом кладу эти объедки в рот. Отскребя их пальцем, а не вилкой. Хрящ застревает у меня в глотке, и я заставляю себя проглотить его. Я сама себе противна, но я умираю с голоду или вспоминаю, как умирала с голоду.

Что со мной? Что со мной не так?

Я слышу стук в дверь. И кладу миски в сухую мойку, пытаясь взять себя в руки.

– Иду, иду, – кричу я Диме, когда стук становится громче. – Извини, я была на кух...

Я замолкаю на полуслове, потому что это не Дима. В неясно вырисовывающемся дверном проеме стоят трое незнакомых мне мужчин: двое похожих друг на друга, как братья, с плоскими носами и ямочками на подбородках и один более высокий и худой с темными мешками под глазами.

– Мы слышали, что тут завелись евреи, – говорит тот из

двоих плосконосых, который повыше. – А этот район является Judenrein⁵.

Judenrein. Так говорили немцы. Поэтому нам и пришлось уйти из нашей квартиры. *Этот район является Judenrein.*

Но немецкие слова больше не могут диктовать, какие районы должны быть свободны от евреев, не так ли?

Во рту у меня пересохло.

– Где вы это слышали?

Не знаю, с чего я взяла, что могу потянуть время. В конце концов, они все равно узнают правду. Ведь все в моей внешности буквально кричит о том, что я была в концлагере.

От этих троих пахнет потом и перегаром, и мое сердце начинает биться часто и гулко. Тот из них, который заговорил со мной, оттерев меня, проходит внутрь, остальные двое вваливаются вслед за ним, заставив меня попятиться еще дальше. Они шарят глазами по квартире, оглядывая то, что видно в темноте.

– Здесь нечего брать, – говорю я. – Как видите, нормальной мебели тут нет, только хлам. И кроме меня, тут никого нет.

«Глупо, – мысленно ругаю я себя, едва эти слова слетают с моих уст. Я хотела сказать: – *Может быть, вы оставите меня в покое, ведь от меня вам точно не будет вреда*». Но

⁵ Judenrein или Judenfrei – свободный от евреев (нем.). Так нацисты Третьего рейха называли области и города, в которых еврейское население было уничтожено или вывезено в лагерь смерти.

теперь при свете фонаря я вижу, что, узнав, что я здесь одна, этот плосконосый глазеет на меня с плотоядной и зловещей ухмылкой.

– Если вам хочется есть, я могу... я, наверное, смогу принести вам еды, – импровизирую я, пытаюсь придумать, как подойти к двери. – Скоро вернется мой друг.

– Ты сказала, что ты тут одна, жидовка.

– Сейчас одна, но здесь вот-вот будет мой друг. Он лейтенант Красной армии.

– Надо же, уже завела себе хахалю, – бормочет тот, у которого под глазами темнеют мешки.

Мне никуда не деться от этих троих. Второй из братьев стоит между мною и входной дверью, а двое остальных разгуливают по моей квартире.

– Да, у меня есть парень, – подтверждаю я, но это звучит так фальшиво, что я бы не поверила себе сама.

Я не вижу у них оружия, но, возможно, оно спрятано под их пиджаками. Пожалуйста, пожалуйста, пусть они только обокрадут меня, но не изобьют. Пожалуйста, пожалуйста, пусть они только изобьют меня, но не изнасилуют. Пусть они только изнасилуют меня, но не убьют.

«Пожалуйста, убейте меня. Просто убейте, и все. Почему бы и нет – ведь как иначе это может закончиться?»

– Я могу вам заплатить, – в отчаянии предлагаю я. – За... за то, что вы позволите мне пользоваться этой квартирой.

Двое из них проявляют некоторый интерес, и я продол-

жаю говорить о деньгах. Я отдам им все, что осталось от тех денег, которые Дима дал мне на продукты, но сохраню крупную купюру, которую мне выдали в госпитале. – Просто дайте мне достать эти деньги. А пока что в кухне есть водка, почти целая бутылка. Можете выпить ее.

Не хотелось бы, чтобы они напились еще больше, но водка отвлечет их, а я не желаю, чтобы они последовали за мной в спальню. И, когда двое из них идут на кухню, чтобы выпить, я бросаюсь в спальню и начинаю рыться в узелке из клетчатой ткани, в который спрятала все деньги.

Из коридора доносится шепот, а затем кто-то из них зовет того, кто заговорил со мной первым и который у них, кажется, за вожака.

– Петр!

Я заглядываю за угол. Они сгрудились вокруг пилотки с красной звездой и серпом и молотом, которую Дима оставил на стуле.

– Я же вам говорила, – заявляю я, входя в комнату. – Его зовут лейтенант Соколов. Он служит... служит под началом капитана Кузнецова. – Не знаю, знакомо ли им это имя, но я произношу его так, словно уверена – оно им знакомо.

– Заткнись, жидовка.

Он говорит это с презрением, но, похоже, мои слова произвели на него впечатление. Теперь здесь командуют русские, и это кое-что значит.

– Он сейчас вернется. – Я важно шествую к двери, всем

своим видом выказывая храбрость, которой на самом деле у меня нет, и протягиваю им деньги, оставшиеся у меня после покупки продуктов. – Так что, думаю, вам лучше взять это и уйти.

Тот, которого зовут Петр, с угрожающим видом выхватывает купюры из моей руки.

– Мы зайдем к тебе на следующей неделе.

Когда они уходят и я запираю за ними дверь, я прислоняюсь к ней спиной и бессильно соскальзываю на пол. Мое колотящееся сердце ноет. Оно болит, даже когда не бьется. Но нет, это не так, потому что мое сердце не перестало биться, оно продолжает, хотя сердца почти всех тех, кого я знала, перестали биться, и именно поэтому мое сердце и болит.

А – это Абек.

Z – это Зофья.

Когда двадцать минут спустя дверь пытается открыть Дима, я все еще сижу, прислонившись к ней. Он толкает ее раз, другой.

– Зофья? – В его голосе звучит паника.

– Минутку, – выдавливаю из себя я и, потеряв глаза кулаками, с трудом встаю на ноги. И открываю дверь. – Приходили какие-то мужчины. Когда они ушли, я закрыла за ними дверь, чтобы обезопасить себя.

– Какие мужчины? – Он оглядывается на лестничную площадку, и его голос становится напряженнее, ниже: – Они вернутся?

– Не знаю.

Дима проходит в квартиру мимо меня и, положив скатку на пол, обходит комнаты, проверяя, заперты ли окна.

– Если они и вернутся, то не сегодня, – говорю я. – Они увидели твою пилотку, и она напугала их.

Он заканчивает осматривать окна. Дима все еще обеспокоен, но по его глазам я вижу, что он доволен моими словами о том, что его пилотка защитила меня.

– Вот. – Он показывает на армейскую скатку.

– Спасибо.

– Ты уверена, что не пойдешь со мной? – Он направляется ко мне.

– Нет, мне нужно остаться. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что в этой квартире никто не живет.

– Можно я переночую здесь? – Он уже пересек всю комнату и подошел ко мне совсем близко. Одним пальцем он гладит мою щеку. – Нет, не в твоей комнате, – поспешно добавляет он. – Просто чтобы защищать тебя.

– Не знаю.

– Мои родители тоже были разных национальностей, – робко говорит Дима. – Папа был военным. Но теперь я уже говорю по-польски лучше, чем мой отец. Думаю, теперь они очень счастливы.

– Наверняка, – тихо соглашаюсь я.

Сейчас он впервые так открыто говорит о своих чувствах, и теперь я уже не могу делать вид, будто его польский недо-

статочно ясен и будто я думаю, что его доброта порождена только дружбой.

У меня нет работы. Деньги, которые мне выдали в госпитале, рано или поздно закончатся. Находиться здесь одной опасно. Дима ко мне неравнодушен. Он хочет оберегать меня. Мне просто нужно ответить ему тем же. И принять эту жизнь.

Возможно, равнодушные Димы по большей части объясняется тем, что он спас мне жизнь. А я использую его. Я так театрально хлопала в ладоши, когда он принес мне губную помаду. И столько раз смотрела, как он раздувался от гордости, слушая воркование других девушек-ничегошниц. И госпиталь я смогла оставить только потому, что уехала вместе с ним.

Но что в этом плохого? Отношения между мужчинами и женщинами, бывало, строились и на куда меньшем.

– Ты хочешь, чтобы я остался? – спрашивает он.

– Хорошо, оставайся, – говорю я, потом облизываю губы и заставляю себя начать еще раз. – Это будет здорово, но тебе ни к чему спать в другой комнате. У меня только одно одеяло, и тебе будет холодно.

В моей детской спальне, в которой я не спала с тех самых пор, как моя страна была захвачена, а семья выгнана в гетто и истреблена, я расстилаю скатку, которую принес мне русский офицер. Я добавляю к ней линялое одеяло, которое дала мне подруга моей покойной тети, и ложусь в том же са-

мом платье, которое носила днем, поскольку мне не во что переодеться на ночь.

Дима лежит за моей спиной, ведя себя уважительно. И, судя по дыханию, не спит, а лежит без сна, глядя на меня, на очертания моего тела, вырисовывающиеся в темноте. Я чувствую его руку на моей голове, он гладит меня по волосам от макушки до кончиков. Он проводит по ним ладонью три раза, потом останавливается, и я понимаю, что он ждет, не сделаю ли я то же самое, повернувшись на другой бок, или не прижмусь ли задом к его животу.

Когда-то в этой комнате меня гладила по голове баба Роза, она делала это так сосредоточенно, словно у нее не было больше никаких дел, никаких забот.

Здесь же меня гладила по голове и тетя Майя, говоря о своих проблемах.

В этой же комнате меня гладила по голове моя мама, и, хотя она всегда бывала усталой и порой засыпала, так и не убрав руки, она всякий раз рассказывала мне сказку и пела те песни, которые днем передавали по радио.

Из соседней комнаты доносится треск. Я знаю, что это всего лишь трещит наш оседающий старый дом, но мне все равно приходится сделать над собою усилие, чтобы не вскрикнуть: «Абек?»

Дима перестал гладить меня по голове, и его рука лежит за моей спиной на скатке, нечаянно придавив несколько прядей моих волос. Я лежу, не шевелясь, не желая быть ложно

понятой и через несколько минут он поворачивается лицом к стене и начинает тихонько храпеть.

Я снова и снова вспоминаю сцену, которую мы пережили за ужином. Дима не стал извиняться передо мной за то, что не сказал про свое письмо в Берген-Бельзен. Ему наверняка не хотелось причинить мне боль, и, по его словам, он сделал это только для того, чтобы защитить меня. *Но нужна ли мне такая защита?*

Такая ли жизнь будет для меня лучше всего? Безопасная жизнь с мужчиной, который будет ко мне добр, охотно принесет мне мягкую постель, но который, возможно, предпочтет скрыть от меня то, что, по его мнению, может причинить мне боль? По словам Димы, его родители счастливы вместе. Он дал мне понять, что и мы могли бы быть счастливы. *Хочу ли я для себя такого счастья?*

Хочу ли?

Я выбираюсь из импровизированной постели и отползаю на четвереньках, стараясь не шуметь. Ощупью отыскав в стенном шкафу мягкий саквояж со сломанной застежкой, я складываю в него мои вещи: белье и мыло, которые принесла Гося, платок, который дала мне сестра Урбаняк. Мой взгляд останавливается на сундуке для приданого – может быть, стоило бы взять что-то и из него? Но я не знаю, сколько мне придется идти пешком, и мне не хочется нагружаться. *«К тому же на этот раз я собираюсь вернуться»*, – говорю я себе. Так что лучше оставить эти вещи там, где они будут

целы.

Дима похрапывает за моей спиной. Рядом с дверным проемом я нахожу его одежду – на спинке стула висит мундир, на сиденье лежат аккуратно сложенные брюки. Сунув руку в карман мундира, я нащупываю пачку банкнот. В темноте не видно, что это: польские злотые, немецкие рейхсмарки или русские рубли, но я пытаюсь не обращать внимания на чувство вины и, дав себе слово, что потом все исправлю, забираю их все.

И пишу Диме записку, хотя и знаю – этого недостаточно. При свете луны я царапаю:

«Я должна отыскать его. Оставайся в квартире сколько хочешь. Если не хочешь жить в ней сам, отдай ее Гесе. Прости меня, прости. Я должна отыскать его».

И кладу записку на его брюки. Саквояж в моей руке легкий. Я прижимаю его к груди и бесшумно выхожу за дверь.

* * *

Иногда мне снится другой сон про то, как я видела Абека в последний раз.

Я уже слышала об Аушвице – к тому времени мы все слышали о нем. Оттуда до нас доходили слухи о мучениях и смерти.

Пожалуйста, не отправляйте нас в Аушвиц, просила я офицера, командовавшего теми, кто нас караулил после то-

го, как моя семья покинула стадион и оказалась в многоквартирном доме, где мы должны были дожидаться следующего поезда. Пожалуйста, только не Аушвиц, ведь мы все можем работать не покладая рук. Вроде бы вы говорили, что вашему командиру нужен проворный мальчик на посылках? Таким мальчиком мог бы стать мой брат. Он здоров – только посмотрите на него. И уже говорит на трех языках. Разве это не было бы вам полезно?

Молодой офицер сказал, что мог бы что-то сделать, но это было бы большим одолжением, за которое нужно заплатить. Я опустила руку в его брюки; тогда я была очень хорошенькой. И три минуты спустя он согласился. Он отправит нас не в Аушвиц, он отправит нас в Биркенау, сказал он.

Поезд еле полз. Мы добирались до Биркенау так долго. Расстояние было небольшим, но поезд то и дело останавливался и стоял часами, без предупреждений, без объяснения причин, и наши мольбы оставались без ответа. Вагоны были так набиты стоящими людьми, что, когда поезд дергался, мы не падали и не шатались. Люди начали умирать уже в самую первую ночь, и их трупы оседали на пол, а мы, остальные, пытались не наступать на них и просили воды. Мой отец отдал свою воду нам и всю дорогу мучился от жажды.

Я тогда, конечно, не знала, что лагерей смерти может быть много и что они могут располагаться так близко друг

от друга. Офицер, к которому я залезла в штаны, сдержал свое обещание, сдержал самым жестоким образом из всех возможных. Он поглумился над нами – я поняла это почти сразу.

Как и Аушвиц, Биркенау находился на окраине городка Освенцим. Он был построен всего в километре от самого первого концлагеря, поскольку тот уже не мог вместить всех узников. Тот офицер отправил мою семью в Биркенау. Он не сказал мне, что другое название Биркенау – это Аушвиц II.

Мы подошли к воротам, Абек и я. И нас повели направо. Он вошел в концлагерь, одетый в свою курточку с подкладкой, под которую был зашит алфавит. А потом вдруг повернулся ко мне, потому что внезапно опять стал не настоящим Абеком, а тем, который приходил ко мне в снах. Это был Абек из сновидений, и он шел прочь от меня, попрощавшись, а я изо всех сил старалась остаться с ним, но вместо этого просыпалась.

Часть вторая

Е

Территория Германии, оккупированная союзниками, сентябрь 1945 года

Я сразу понимаю, когда поезд пересекает границу и въезжает в Германию.

Пока он еще находился в Силезии, на землях, которые когда-то принадлежали Польше и, возможно, отошли ей теперь от Германии, конфигурация железнодорожных путей была беспорядочной, со множеством изгибов. На вокзале в Сосновце билетер предупредил меня, что Красная армия перемещает рельсы и шпалы. Раньше линия Катовице – Мюнхен была прямой, теперь же дорога кружит – она поворачивает назад, сворачивает в стороны, временами становится одноколейной, так что мы вынуждены целыми днями ждать, когда пройдет встречный поезд. И, поскольку в Польше пути расположены хаотично, поезд движется, словно мышь, пытающаяся выбраться из лабиринта.

Но я сразу понимаю, когда поезд пересекает границу и въезжает в Германию, потому что здесь пологие холмы нередко опалены и среди зелени видны темные шрамы. Не

так давно здесь все разбомбили союзники, старавшиеся перерезать пути снабжения Третьего рейха.

Теперь мы движемся еще медленнее. Останавливаемся чаще. Железнодорожники говорят нам, что пути очищают от обломков.

Перед самым отходом поезда место рядом со мной занял старик. У него седая окладистая борода, он одет в темный пиджак и напоминает мне моего деда, Зайде Лазера. Сначала он сидел молча, и я даже не знала, говорим ли мы с ним на одном языке. Но едва застучали колеса и вагон тронулся с места, он достал из кармана пиджака небольшую бутылку с янтарной жидкостью и протянул ее мне.

Наливка, крепкая и сладкая. Я отпила небольшой глоток, и он обжег мое горло. Потом вернула бутылку ему, он тоже выпил и снова отдал ее мне.

– Мне больше не нравится ездить на поездах, – сказал он.
– Мне тоже.

Теперь этот старик стал моим безымянным другом. Сиденья заполнились пассажирами, затем они заняли и проходы. Мы со стариком встаем и ходим в туалет только тогда, когда терпеть дальше уже нельзя, причем он не дает другим занять мое место, а я никому не даю занять его. Затем люди облепили и крыши вагонов, после чего повисли на лестницах и на межвагонных буферах.

Поезд идет долго. В нем очень жарко, и иногда я даже не понимаю, бодрствую я или же сплю и вижу сон. Иногда мне

кажется, что рядом со мной сидит Абек. Мои прошлое и настоящее сливаются воедино, и я не противлюсь этому слиянию. Медленно тянутся часы, и ампутированные пальцы на моей ноге болят, как будто они все еще на месте. Медленно тянутся дни, и уже все мое тело начинает болеть, а затем немеет, так что я перестаю понимать, существует ли оно вообще.

– От плохих снов, – говорит старик, протягивая мне другую бутылку с выпивкой, от которой мое сознание затуманивается и успокаивается. Он произносит эти слова после того, как я просыпаюсь, задыхаясь и ловя воздух ртом. Все дело в ритмичном движении, это от него кричит мой мозг. Как только я засыпаю, мое тело вспоминает путь в Биркенау. Я могу приказать моему разуму не вспоминать об этом, но, когда я проваливаюсь в сон и ощущаю мерное покачивание вагона, об этом вспоминает мое тело.

– От беспокойного ума, – говорит старик и достает еще одну бутылку.

Это делает поездку терпимой. Нет, это не излечивает меня, но на время решает проблему. Мне помогает выпивка, а также то, что всякий раз, выглядывая из окна – всякий раз, когда мы делаем остановку на станции и женщины предлагают нам купить хлеб и вареные яйца, просовывая их в окна, – я говорю себе, что приближаюсь к месту, где может находиться Абек.

Наконец приходит день, когда поезд останавливается совсем – это происходит перед самым рассветом. Пути больше нет – вместо него впереди видны искореженные рельсы, торчащие из опаленной земли. И проводник объясняет, что поезд не может сдать назад и поехать по другому пути, поскольку на этом участке все железнодорожные пути разрушены. Так что нам не остается ничего иного, как сойти и пешком пройти десять километров до следующей уцелевшей станции.

Мы сходим с поезда посреди неопрятного ячменного поля, и я с удивлением вижу группы ожидающих нас людей. По большей части это девушки либо моего возраста, либо моложе в рабочей одежде, держащие в руках корзинки с едой, хотя у некоторых из них еды нет. Они стоят рядом с тощими лошадьми, запряженными в повозки.

– Комитет по торжественной встрече? – шутит мой пожилой друг, пока мы стоим в клубах пара.

Вскоре становится ясно, что здесь делают эти девушки. За плату они готовы отвезти нас до ближайшей станции, где сохранились железнодорожные пути. Сначала они подходят к военным, к мужчинам в форме, у которых деньги есть наверняка, и торгуются, кокетливо улыбаясь, но улыбки сразу же пропадают, когда переговоры заканчиваются и деньги ис-

чезают в карманах их фартуков.

Поджарая девица лет шестнадцати-семнадцати направляется не к военным, а напрямик ко мне.

– Едешь? – спрашивает она по-немецки.

– Я могу пойти пешком.

Однако я беспокоюсь, как смогу дойти до станции. Десять километров – расстояние большое для человека, у которого изуродована нога – боль все еще простреливает мою икру. Но еще больше я беспокоюсь из-за лишних расходов; всю дорогу я покупала только самый дешевый хлеб.

Девица кивком показывает на старика.

– Вероятно, он не может идти пешком. Но в моей повозке для него есть подушка. К тому же, если вы откажетесь поехать со мной, не успеете добраться до поезда достаточно рано для того, чтобы раздобыть сидячее место. И ему придется всю дорогу стоять.

– Я заплачу, – великодушно предлагает старик. – Если вы не против посидеть со мной рядом еще немного.

Подушка комковатая, повозка высока, но девица и не думает помогать нам забраться на нее. Она продолжает глазеть прямо перед собой, пока я, подтянувшись, не усаживаюсь и не втягиваю за собой старика.

Как только мы садимся, она цокает языком и пускает лошадь вперед.

По собственной воле я была в Германии лишь однажды. Отец поехал по делам в Берлин и взял меня с собой. Тогда

он сказал, что это столица современной цивилизации и что женщины там носят такую одежду, которую мы будем шить для полек через пять лет. Однако девушки, стоящие у повозок или продающие еду, отнюдь не выглядят модно одетыми. Они кажутся мне просто усталыми.

Мы проезжаем мимо мужчины, малюющего вывеску. До Мюнхена еще далеко, но он пишет не только по-немецки, но и по-русски, по-английски и по-французски.

– Они разделили страну, – говорит девушка, заметив, что я смотрю на вывеску. – Четыре страны-победительницы – четыре угла. Все они получили по куску Германии. Куда вы направляетесь?

– Под Мюнхен.

– В Мюнхене заправляют американцы, – говорит она.

– А кто контролирует ситуацию здесь?

– Никто, – уклончиво говорит она. – Никто не контролирует ни ситуацию, ни себя самого. Везде хаос, бардак. И все еще находят трупы.

– Трупы? – переспрашиваю я.

– Тела тех, кто погиб под бомбами. Похороненные под обломками домов. И пока там находят трупы, до всего остального никому не будет дела.

Она поворачивается к своей лошади и молчит, пока мы не добираемся до места, где рельсы начинаются опять. Это не настоящая железнодорожная станция, а просто стоящий на траве ржавый вагон. На его боку намалевано немецкое слово

– видимо, название ближайшего городка.

Здесь уже расположились военные. Вид у них более развязный, чем когда они сошли с поезда час назад, как будто их взбодрил свежий воздух.

Похоже, девушка, ведущая повозку, хочет нам что-то сказать, но не может решить, стоит это говорить или нет. И, только остановив лошадь, когда я начинаю слезать на землю, костлявыми пальцами сжимает мое запястье.

– Английские и американские солдаты – да, а русские – нет.

– Что-что?

Она смотрит прямо перед собой.

– Военные могут помочь добыть вещи, и это бывает полезно. Но проси английских или американских солдат, а не русских. Русские считают, что ты им что-то должна. И если ты не даешь им этого по собственной воле, они берут сами.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Мне все равно, веришь ты мне или нет, но то же самое тебе скажут и другие немецкие девушки.

– Русский офицер спас мне жизнь, – говорю я.

– Тебе повезло, – с горечью шепчет она и, продолжая смотреть вперед, трет горло. – Правда повезло.

* * *

Руки и ноги у меня ноют, тело потное, грязное. Но вшей

нет, напоминаю я себе. И клопов тоже. И пустого желудка. Так что жаловаться не на что. Мне бывало куда хуже.

Старик, имени которого я так и не узнала, проехал со мной до самого Мюнхена. Он сказал, что там его встретит дочь, и, когда мы прибыли на вокзал, его ожидала стройная рыжеволосая женщина, такая же широкоплечая, как он, и с такой же формой носа. Они обнялись и не отпускали друг друга, и я не стала с ним прощаться, поскольку мне не было места в этом воссоединении дочери и отца.

Рядом со станцией я обнаружила стоянку чего-то вроде такси – по большей части это были грузовики, водители которых выкрикивали названия мест, куда они едут, и брали пассажиров, направляющихся в ту же сторону, что и они.

Теперь, несколько часов спустя, водитель моего грузовика высадил всех, кроме меня. Наконец он останавливается на обочине гравийной дороги и говорит, что мы прибыли в Фёренвальд. Но таблички с названием рядом нет.

Вокруг простираются только поля, ровные и бурые, и в земле копошатся десятки плохо одетых мужчин и женщин. Далее, в нескольких сотнях метров виднеются островерхие крыши городка.

Я оглядываюсь, рассчитывая спросить у водителя, куда мне идти, но он уже отъехал. И я иду по полю к одной из женщин, которая с лопатой в руке сажает в землю какие-то семена.

– Извините, вы не скажете мне, где находится лагерь? –

спрашиваю я по-немецки. – Лагерь для перемещенных лиц. Он близко?

Она явно не поняла моего вопроса. Я перехожу на идиш, потом на польский, но ответа все нет. Однако, когда я спрашиваю по-польски, лицо женщины проясняется и она жестом подзывает к себе свою товарку. Я повторяю вопрос, и вторая женщина отвечает мне также по-польски.

– Фёренвальд вон там, – она кивает в сторону островерхих крыш.

– В каких из тамошних зданий находится лагерь?

Она смеется.

– Во всех.

– Я здесь, – шепчу я. *Я это сделала.*

Женщина, а вернее девушка, смотрит на меня с удивлением, но с минуту я молчу, не в силах говорить, не в силах сдвинуться с места, дрожа всем телом, ибо я все-таки сделала это, каким бы безумием это ни казалось. И истратила половину имевшихся у меня денег на проезд и еду. Теперь обратной дороги нет, мне уже не на что вернуться домой. На миг мое сердце сжимает страх, но что сделано, то сделано.

– Наверное, вам нужно административное здание, – говорит девушка в ответ на мое молчание. – Оно находится в центре лагеря – идите вон туда, к улице Мичиган-стрит. Как подойдете поближе, вам кто-нибудь поможет.

Я выдавливаю из себя улыбку и пытаюсь повторить за ней название улицы. Это явно не польское и не немецкое слово.

– Ми-чи-ган, – произносит она по слогам. – Это американская провинция. Все улицы лагеря названы в честь американских провинций.

– Спасибо.

Грунтовая дорога, которую она мне показала, ведет меня в Фёренвальд, который нисколько не похож на то, что я ожидала здесь увидеть. Я представляла себе параллельные ряды длинных барачков, архитектуру войны, готовясь к худшему.

Но Фёренвальд больше похож на небольшой городок, и его конфигурация напоминает колесо со спицами. Я вздыхаю с облегчением.

Кроме Мичиган-стрит здесь есть улицы, называемые Иллинойс-стрит, Индиана-стрит, и все они ведут в центр. На расходящихся, как колесные спицы, улицах стоят маленькие выбеленные известкой домики, а в середине, судя по всему, находятся административные постройки, более крупные и похожие на фабрики, расположенные вокруг центрального двора.

Перед входом в самое большое здание стоят люди, разговаривая и куря. Я не удивляюсь, слыша разные языки: венгерский, чешский, голландский. Большинство этих людей молоды – моего возраста или немного старше; кое-кто – их куда меньше – принадлежит к поколению моих родителей, и еще меньше пожилых. Никого моложе здесь нет, никого возраста Абека.

Я прочищаю горло и сжимаю ручку моего саквояжа. – Из-

вините, кто здесь главный? – спрашиваю я по-немецки, поскольку чаще всего здесь звучит именно этот язык.

Рыжеватый паренек отрывается от беседы. – Какое отделение вы имеете в виду?

Отделение. Такого я не ожидала.

– Я ищу одного человека. Другого узника – то есть перемещенное лицо.

Он кивком показывает на небольшую соседнюю постройку.

– Тогда вам туда. Спросите фрау Йост.

Но мне не приходится ее спрашивать – почти сразу же после того, как я вхожу в современное здание с линолеумными полами, ко мне подходит невысокая женщина в очках в металлической оправе. Она одета в клетчатое отрезное платье спортивного и, похоже, не немецкого покроя. Рукопожатие у нее деловитое.

– *Englisch?* – спрашивает она. – *Deutsch?*⁶

– *Ja*, – отвечаю я и объясняю, что я из Польши, но говорю по-немецки. – Меня зовут Зофья Ледерман. Вы фрау Йост?

Она кивает.

– Да, это я. Какое счастье, что вы знаете немецкий. – Сама она говорит по-немецки с акцентом, то ли американским, то ли канадским. – На днях, чтобы объясниться с женщиной из Венгрии, мне пришлось прибегнуть к помощи человека, который говорил по-венгерски и по-французски.

⁶ Английский? Немецкий? (нем.)

Я ожидаю, когда она спросит, что я тут делаю, или предложит сесть, но вместо этого фрау Йост снимает с крюка шляпку, надевает ее и ведет меня к двери, через которую я только что вошла.

– Я сказала им, что ни у кого нет времени вычистить такое количество жилья, – говорит она. – Но мы сделали все, что могли – койка там, койка тут, но численность людей уже удвоилась, и нам отчаянно не хватает одеял. Вы же знали об этом, не так ли? С таким количеством перемещенных лиц еды у нас сейчас, наверное, на неделю. Огороды тоже играют свою роль.

– Фрау Йост...

– Думаю, в конечном итоге *ваши* официальные продуктовые карточки передадут нам, но, поскольку, в этой стране пока абсолютно ничего не работает...

– Фрау Йост, извините, но...

Наконец, заметив, что я не вышла вместе с ней, она замолкает и опять заходит внутрь.

– Фельдафинг?

– Что?

– Вы не из Фельдафинга?

Я качаю головой.

– Нет, мне сказали, чтобы я зашла и спросила вас.

Она закрывает глаза и щиплет себя за переносицу.

– Извините. Мы получили телеграмму, в которой говорилось, что лагерь в Фельдафинге переполнен и что к концу

недели часть перемещенных лиц оттуда прибудет сюда. К настоящему времени к нам уже должен был приехать тамошний представитель, чтобы заняться размещением. Обычно я такими вещами не занимаюсь, но с ним могла встретиться только я.

Она протягивает руку к ручке двери, и я понимаю, что, если бы у нее имелись часы, она бы сейчас смотрела на них. – Но как бы то ни было, вы не из Фельдафинга. Кого же вы представляете?

– Никого. Я ищу моего брата.

– А вы знаете, в каком из домиков он живет?

– Моя семья жила в Польше. Нас с Абеком разлучили в Биркенау в самом начале, и я слышала, что оттуда узников отправили в Дахау, а затем некоторые из них были привезены сюда.

– Значит, вы не знаете, в каком домике он живет. И вообще, вы уверены в том, что он здесь, у нас? – она говорит прямо и сухо, и я невольно начинаю чувствовать себя душой.

– Нет, не уверена. Но думаю, что он все-таки здесь. Я слышала, что узников Дахау привезли сюда.

– *Некоторых* из них.

– Поэтому-то сюда приехала и я. Меня зовут Зофья Ледерман. А имя моего брата Абек Ледерман. Сейчас ему должно быть двенадцать лет, но мы велели ему говорить, что он старше. Возможно, он говорит, что ему пятнадцать, и...

– Этот лагерь предназначен только для взрослых, – пере-

бывает меня фрау Йост. – Мне очень жаль, но мы не принимаем сюда тех, кому еще нет семнадцати лет, если их не сопровождают родители или опекуны.

– Не могла бы я хотя бы...

– Посмотреть наши списки? Да, – отвечает она, поняв, о чем я собираюсь спросить. – Я могу дать вам в помощь секретаря. Вы здесь одни?

– Да.

– А откуда вы явились сюда?

– Из Польши.

– Об этом вы уже говорили. Ваша семья жила в Польше. Но я имела в виду другое – где вы остановились сейчас? Откуда вы явились в наш лагерь?

До меня только сейчас начинает доходить опрометчивость того, что я сделала. Я нигде не остановилась. Здесь мне вообще негде жить.

Внезапно я чувствую себя такой усталой. Такой грязной. Мне хочется есть, хочется пить, хочется лечь, и я спрашиваю себя: зачем я здесь? – Из Польши, – повторяю я. – Я приехала на поезде.

– Сегодня? Одна?

– Да, сегодня. Я уехала – кажется, это было несколько недель назад. Мне пришлось ехать долго. И да, яехала одна.

Выражение лица фрау Йост меняется, взгляд становится мягче. Она отвечает не сразу. – Одной нелегко проделать такой длинный путь.

– Да.

– Сколько же времени вы ехали сюда?

– Брат все, что у меня осталось.

Она на минуту задумывается, смотрит поверх моего плеча туда, где на стене висят часы, затем вздыхает.

– Идите за мной.

Мы проходим через вестибюль и заходим в небольшое помещение, на двери которого висит написанная от руки табличка: «Поиск пропавших без вести». Внутри стоит письменный стол, заваленный горами бумаг. Из-под бумаг выглядывает черный телефон.

– Садитесь, пожалуйста. – Фрау Йост показывает мне кресло с подлокотниками, а сама садится на стул с прямой спинкой и берет со стола авторучку и толстую конторскую книгу. Конторская книга переплетена в кожу, на которой золотом вытеснено: «ИГ ФАРБЕН». Откуда-то мне знакомы эти слова, но откуда? Я не могу этого вспомнить.

– Фрейлейн Ледерман, – начинает фрау Йост, – скажите, что именно вы уже сделали, чтобы разыскать вашего брата?

– Я внесла его имя в список.

– Хорошо. В какой список?

– В список Красного Креста.

Она делает пометку в тетради. – А в какие еще?

– Я точно не знаю.

– А в список Администрации Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной помощи и восстанов-

лению? А в список Американского еврейского объединенного распределительного комитета, известного как «Джойнт»? А в список Бюро по розыску пропавших без вести в Мюнхене или в списки каких-то других организаций?

– Пока я находилась в госпитале, мне несколько раз предлагали внести имя в тот или иной список, и я каждый раз вносила его.

– Фрейлейн Ледерман. – Она надевает на свою авторучку колпачок и кладет ее на стол. – Сейчас время хаоса, но есть много организаций, пытающихся помочь.

Она перечисляет несколько аббревиатур, обозначающих такие организации, но для меня все они сливаются воедино. Я понимаю, что она пытается сказать. Существует много списков. Мне надо было внести имя Абека во множество списков, их куда больше, чем я могла себе представить, и я должна была отслеживать их все.

Это как лоскутное одеяло. Европа пытается опять сшить себя воедино, используя для этого самые разные виды швов.

Я хватаюсь за подлокотники, и глаза мои застилает пелена. Я делаю над собой усилие, чтобы фрау Йост не расплылась. Во рту у меня пересохло, а голос звучит так, словно доносится до моих ушей откуда-то издалека.

– Но на то, чтобы дождаться ответа от всех этих организаций, может уйти несколько месяцев, – говорю я. И с ужасом понимаю, что, даже если в госпитале я, не сознавая того, обратилась за помощью в некоторые из этих организаций, те-

перь они никак не могут связаться со мной.

– Да, на это могут уйти месяцы, – соглашается фрау Йост. – Моя задача состоит в оказании помощи перемещенным лицам, но на это может уйти долгое время. С вами все в порядке? Если у вас кружится голова, опустите ее и поместите между колен.

– У меня... у меня не кружится голова.

– Я же вижу, что кружится. – Она встает и кричит секретарше, сидящей за потрескавшейся дверью: – Не могли бы вы принести стакан воды?

Не знаю, есть ли у меня эти месяцы, хочу сказать я. Отчасти я жива потому, что заставила себя жить, заставила, чтобы найти Абека. Мне лишь с трудом удастся не сойти с ума, и я не знаю, сколько еще смогу держаться. Отправлять письма, на которые не приходят ответы, – этого недостаточно.

Я слышу шуршание ткани и стараюсь сфокусировать зрение. Фрау Йост держит в руке стакан воды и, подняв брови, спрашивает меня, могу ли я его удержать, после чего кладывает стакан в мои руки.

– Надеюсь, вы понимаете, что я говорю это отнюдь не для того, чтобы отговорить вас от поисков вашего брата, – произносит она, пока я пью воду. – Но одна девушка, с которой я работаю, писала по десять писем в день шестьдесят дней подряд. Она точно знает, что ее сестра была освобождена из Биркенау, но пока что ей так и не удалось ее отыскать. Но у вас будет больше шансов найти человека с помощью писем,

чем разъезжая по Европе и ведя поиски лично. Не можете же вы побывать везде. А даже если бы могли, люди все еще переезжают с места на место. Так что, даже если вы попадете в нужное вам место, нет никаких гарантий, что окажетесь там в нужное время, а не после того, как ваш брат уедет куда-то еще. А потому, если у вас все еще есть дом, возможно, наилучшим вариантом для вас было бы вернуться туда.

– Для этого у меня осталось слишком мало денег.

– Вы могли бы обратиться в фонд путевых расходов за...

– Нет.

– Или я могу связать вас с сотрудником по розыску пропавших без вести, находящимся ближе к тому месту, откуда была увезена ваша семья...

– *Нет*, – рывкаю я. – *Я не уеду без брата.*

Я представляю себе хилые поломанные стулья в моей брошенной столовой, чужой ковер, булочную с чужими лицами. Это место может опять стать для меня домом только после того, как мы с Абеком превратим его в таковой.

Фрау Йост снова открывает рот, но я опережаю ее.

– Я могу посмотреть записи о поступлении перемещенных лиц в ваш лагерь?

Похоже, она хочет возразить, но вместо этого деловито кивает.

– Да, я скажу секретарю; вы сможете посмотреть их сразу после ужина.

Ужин. Это слово напоминает мне о том, что у меня нет

планов на вечер. Что мне негде жить, некуда идти. Фрау Йост уже говорила, что лагерь переполнен.

– А потом... после ужина я могу остаться здесь? – спрашиваю я. – Пока я не придумаю, что делать. Если у вас нет для меня койки, я буду спать на полу.

Фрау Йост вздыхает.

– Вам не придется спать на полу. Идите за мной. Я скажу сотруднику, ведающему размещением, и найду кого-нибудь, кто поможет вам устроиться.

Я беру саквояж, а она – свою конторскую книгу, ту на которой золотыми буквами вытиснено: «ИГ ФАРБЕН». Я все никак не пойму, почему мне знакомо это название.

– Что это? – спрашиваю я. – Что это за название на обложке?

Она опускает взгляд.

– До того, как это место стало лагерем для перемещенных лиц, здесь располагалась химико-фармацевтическая компания. Я все еще пользуюсь оставленными ими канцелярскими принадлежностями, пока сюда не поступили наши.

– Я слышала название «ИГ Фарбен» и пытаюсь вспомнить, в какой связи.

– «Циклон Б», – говорит фрау Йост. – «ИГ Фарбен» изготавливала «Циклон Б».

Так вот откуда мне известно это название. В Биркенау до того, как там узнали, что я умею ткать и шить, меня иногда направляли на разгрузку грузовиков. На доньшках желтых

металлических банок с «Циклоном Б» имелись маленькие логотипы с названием его изготовителя, «ИГ ФАРБЕН».

«Циклон Б» был пестицидом. Он изготавливался в виде гранул, которые превращались в газ. Я слышала, что первоначально он использовался для истребления грызунов. В Биркенау я выгружала банки с ним, а затем охранники перевозили их в здания, которые они называли душевыми. В них набивали по несколько сотен узников, использовали «Циклон Б», и он отравлял людей.

Е

К тому времени, когда фрау Йост выводит меня из своего кабинета, я уже утратила всякое представление о времени. Фёренвальд начинает казаться мне чем-то нереальным. А вдруг стоит мне моргнуть, и я проснусь в моей квартире, лежа на скатке рядом с Димой, или в госпитале, в палате для девушек-ничегошниц? По словам врачей, я еще недостаточно выздоровела даже для того, чтобы покинуть госпиталь самостоятельно, но мне все-таки удалось в одиночку проделать весь путь сюда. И к моему огорчению, из-за того, что я не нашла здесь Абека, примешивается чувство некоторой гордости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.